Вячеслав Кушнир  
  
**РУССКАЯ ФЕДРА В ПАРИЖЕ***драма*  
  
  
время действия: 1914-23 г. г.  
место действия: Франция, Россия  
  
  
  
  
персоны:  
  
ТАИРОВ Александр Яковлевич, 38 лет, театральный режиссёр,  
КООНЕН Алиса Георгиевна, 36 лет, актриса  
ЦЕРЕТЕЛЛИ Николай Михайлович, 31 год, актёр  
ЗОРЬКИНА Клара Феоктистовна, 22 года, театральный костюмер  
ГОРОШЕК Семён Львович, 27 лет, машинист сцены  
РАССТЕГАЕВ Всеволод Сергеевич, 27 лет, эмигрант, казак, вахмистр в отставке  
БЕРТРАН Жюль, 29 лет, фермер, армейский сержант в отставке  
АРАБЕЛЬ, 24 года, жена Бертрама  
ГЕРЕН Гаспар, 33 года, армейский капитан в отставке  
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич, 48 лет, нарком просвещения  
ЛИТВИНОВ Максим Максимович, 45 лет, зам наркома по иностранным делам  
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович, 46 лет, председатель ГПУ при НКВД  
  
  
  
  
  
1914 год. Июль. День. Сен-Люнер, приморский курорт в Бретани. Номер в отеле «Мои бижу». Здесь Коонен. Стук в дверь.  
  
КООНЕН. Да-да!  
  
Входит Таиров.  
  
ТАИРОВ. Прошу простить за вторжение, Алиса Георгиевна, но ситуация изменилась. Пришла телеграмма от Зонова: «Для разрешения неотложных вопросов необходим ваш срочный приезд».  
КООНЕН. О, нет. А как же цирк!  
ТАИРОВ. Знали бы вы, как я огорчён. Но вызов касается лишь меня, оставайтесь.  
КООНЕН. Нет-нет, что вы, мне так неловко.  
ТАИРОВ. Домашние знают, что вы должны приехать позднее, волноваться не станут, у вас полная возможность задержаться на несколько дней.  
КООНЕН. Александр Яковлевич, миленький, поймите меня правильно и простите.  
ТАИРОВ. Ещё как понимаю. «Обезьяны Джульетта и Мак показывают семейную ссору! Египетская танцовщица Лия Ней исполняет танец живота с ядовитой змеей».  
КООНЕН. «Собака Мажиго - профессор математики. Любимец публики Джон Хозе - непревзойденный король цепей и замков». И ещё ряд замечательных аттракционов.  
ТАИРОВ. А ведь так правы были Станиславский и Качалов, когда настоятельно рекомендовали вам этот уютный курорт.  
КООНЕН. Я признавалась, что Бретань очень напоминает родину моих предков, Бельгию? То же холодное море, то же бледное, но слепящее солнце, такой же широко раскинувшийся светлый пляж. И вы такой неожиданно страстный любитель моря!  
ТАИРОВ. И ко всему стоят чудесные дни. Если бы не театр, я стал бы моряком. Тоскливо будет в дороге одному, но что делать. Пропустить такое сенсационное зрелище казалось мне просто непростительным. Пойду, соберу чемодан.  
КООНЕН. Через шесть дней встречайте меня в Москве! Ой, простите, вы не обязаны, меня встретят родные.  
ТАИРОВ. Непременно встречу. И поверьте, я встречу вас словами: театр будет! Отдыхайте, Алиса Георгиевна, набирайтесь сил. Нас, с вами, ждёт наш театр и прекрасное будущее. (Уходит.)  
КООНЕН. Ждёт-ждёт, и дождётся!  
  
Затемнение. Гул колоколов.  
  
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Объявлена война! Объявлена война!  
  
  
1918 год. Тамань. Ночь. Передовая. Здесь Герен, в маскировочной одежде. Через бруствер переползают Расстегаев и раненый Бертран.  
  
ГЕРЕН. Позывной!  
БЕРТРАН. Кабан.  
РАССТЕГАЕВ. Сокол.  
ГЕРЕН. Тунец.  
РАССТЕГАЕВ. Ваш ранен, принимайте. А я – к своим.  
ГЕРЕН. Как ты? Перевязка нужна? Чем помочь?  
РАССТЕГАЕВ. Не надо, всё путём, где надо смазано, где надо связано.  
БЕРТРАН. Задание выполнено, объект ликвидирован. На обратном пути я попал в засаду, германцы пленили. Сокол освободил, всех перебил, молодец.  
РАССТЕГАЕВ. Фигня – война, главное манёвры, господа французы.  
БЕРТРАН. А мог бы уйти один.  
РАССТЕГАЕВ. Не, одному скучно. Да ведь и с заданием управились раньше срока, как-то надо было время занять. Ну, Тунец, я пошёл?  
ГЕРЕН. Благодарю, Сокол.  
БЕРТРАН. Адрес запомнил?  
РАССТЕГАЕВ. Не переживай, я злопамятный. Бывай, Кабан, держись нашего роду, как говорится: бог не без милости, казак – не без счастья. (Уходит.)  
БЕРТРАН. Счастья, друг!  
ГЕРЕН. Откуда русский простолюдин французский так знает? Пословицы свои по-нашему, как на родном!  
БЕРТРАН. Говорит, предок был из наших, что-то из наполеоновских времён.  
ГЕРЕН. Время.  
БЕРТРАН. Идти готов.  
ГЕРЕН. Помочь?  
БЕРТРАН. Покуда сам, а там посмотрим. Ох, господин капитан, знали бы вы, как я полюбил жить.  
ГЕРЕН. Пора в отставку. Мы ещё на задании, Кабан, и я – Тунец. За мной. (Уходит.)  
БЕРТРАН. С богом. (Уходит.)  
  
  
1921 год. Весна. Москва. Тверской бульвар. Таиров наблюдает, как на фасаде здания через дорогу от него, Горошек обновляет вывеску «Камерный театр». От театра идёт Коонен.  
  
КООНЕН. Таиров, тебя убить мало!  
ТАИРОВ. Ба-ба-ба-ба.  
КООНЕН. Прости, но я же жду. Я жду, жду, жду, а он таращится на обыкновенную вывеску, как на чудо из чудес.  
ТАИРОВ. Чудо, чудо.  
КООНЕН. Мне надо показать тебе Джульетту! Я нашла, похоже, важную добавку в сцене смерти.  
ТАИРОВ. Ты чудо, Алиса, чудо.  
КООНЕН. Как эта вывеска?  
ТАИРОВ. Сегодня диспут в Доме Печати, ждут обоих.  
КООНЕН. Но я-то им зачем!  
ТАИРОВ. Живая Алиса Коонен.  
  
От театра идёт Церетелли.  
  
КООНЕН. Коля, мог бы и в зале дождаться, в конце концов, супруга находит супруга, полагаешь им не о чем перемолвиться?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Мне нравится идея Алисы Георгиевны. Единственно, конструкция мешает, длину жеста, заметно для глаза, приходиться укорачивать. Я – о себе. Я был уверен, что ты побежала за режиссёром, как актриса, а не как супруга. Прими извинения.  
КООНЕН. Извело, господин режиссёр, идёмте уже пробовать.  
ТАИРОВ. Постойте, подышите природой, отдохните от театральной пыли.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Александр Яковлевич, я вам правда помешал?  
ТАИРОВ. Я вас умоляю, Николай, уж кто-кто, но не вы.  
КООНЕН. Горошек катится.  
  
Дорогу, в рабочей спецодежде, с молотком, перебегает Горошек.  
  
ГОРОШЕК. Александр Яковлевич, как оно?  
ТАИРОВ. По мне, Семён Львович, встало, как надо. Господа актёры, как вам?  
КООНЕН. Ой, да висит и висит, на то она и вывеска, нам-то что, спросите у прохожих.  
ГОРОШЕК. А нет-нет, правый угол провисает. Исправим. (Убегает.)  
КООНЕН. Машинист сцены занимается чёрт-те чем, молотком на фасаде гвозди вколачивает. Нет, разве, для этого специалистов попроще? Вдруг сверзится, а он ведёт Шекспира, между прочим.  
ТАИРОВ. А вот и прохожий! Анатолий Васильевич!  
  
Из аллеи выходит Луначарский, потрясая книгой в руке.  
  
ЛУНАЧАРСКИЙ. «Для меня и небольшой группы лиц, художественно спаянных со мною, было все же ясно, что работа, начатая нами, прекратиться не может, что те новые планы Театра, которые зародились в ее процессе, должны найти почву для своего воплощения, а мы должны продолжать наши искания до той поры, пока в волшебных струях чудесного озера Урдар мы не увидим, наконец, отражения поразившей нас истины».  
ТАИРОВ. Книжками балуетесь, Анатолий Васильевич? Добрый день.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Здравствуйте, товарищи.  
КООНЕН. Наизусть, прямо очень даже впечатляюще. Рада видеть.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Приветствую.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Такие книжки – не баловство. «Записки режиссёра». Простенько так, парам-парам, а на самом деле – грандиозная вещь!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Я тоже помню наизусть.  
КООНЕН. Ну, ты-то актёр да ещё под руководством автора текста, быть зубрить.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. В тот год меня с вами не было. И всё же, я был. «Было ясно: ни в одном из существовавших театров мы работать не можем. Нам необходим свой театр. Свой театр!.. Кто сосчитает бессонные ночи, полные надежд и отчаяния дни, совершенно неожиданные по невыполнимости проекты, почти бредовые построения, которые, как фантастические замки в воздухе, возникали и рушились в весеннем дурмане безучастного города!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. «Для театра нужны были: помещение, деньги и труппа. У нас не было ни того, ни другого, ни третьего. И все же — Камерный театр возник. Как?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Как возникает утро? Как возникает весна?  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Как возникает человеческое творчество?  
КООНЕН. Так возник и Камерный театр — со всей непостижимостью и всей стихийной логичностью подобного возникновения. Он должен был возникнуть — так было начертано в книге театральных судеб.  
ТАИРОВ. Ибо иначе как могло случиться, что во всей огромной путаной Москве отыскался дом номер 23 по Тверскому бульвару, в котором домовладельцы уже и сами подумывали о постройке театра, как могло случиться, что Воинское присутствие, солидно разместившееся в залах старинного особняка, как раз доживало последние месяцы своего контракта, как могло случиться, что мы, категорически отказавшись от меценатств, вдруг, почти уже отчаявшись, в последнюю минуту, обрели двух пайщиков и внесли десять тысяч домовладельцам, подписав с ними договор на пять лет на общую сумму в сто семьдесят пять тысяч! Как могло случиться, что мы в двадцатом веке, не давая никому никаких денежных гарантий, собрали все же вокруг себя нужную группу молодых, талантливых актеров, готовых работать с нами при любых условиях, как могло случиться… Но нет, все равно я не сумею ни передать, ни объяснить всех «как».  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вы хотите знать историю возникновения Камерного театра? Прочтите «Тысячу и одну ночь», прочтите фантастические рассказы Гофмана, перелистайте страницы Жюля Верна, Майн Рида, Уэллса — и тогда вы, быть может, получите некоторое представление о том, как возник Камерный театр, или, вернее, о том, как до последнего момента мы сами не знали, действительно ли возник он или это только горячечный бред, «каприччио» нашего театрального воображения.  
КООНЕН. В фантасмагории возникновения Камерного театра у нас настолько спутались границы воображаемого и реального, так часто казалось нам, что все погибло и таким неожиданным образом все вдруг облеклось снова в плоть и кровь, что когда на улицах Москвы появились наконец первые афиши с заголовками «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно быль, а не мираж, не бред нашего разгоряченного воображения.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Итак, Камерный театр есть факт. Почему Камерный?  
ТАИРОВ. Этот вопрос не раз задавали нам и тогда и впоследствии. Мне и моим друзьям по работе это название казалось очень ясным и естественным. Ничто новое в искусстве не находит сразу доступа к художественному восприятию рядового зрителя. Недаром Оскар Уайльд пишет, что публика больше всего на свете боится «новшеств» и что для защиты от них она построила баррикады из классиков и создала особый кадр критиков.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Пример Свободного театра подтвердил это.  
ТАИРОВ. Ничто новое не находит сразу доступа к восприятию рядового зрителя. Мы хотим работать вне зависимости от обывателя, крепко засевшего сейчас в театральных залах, хотим иметь небольшую аудиторию своих зрителей, таких же ищущих, неудовлетворенных, как и мы. Поэтому мы и называем наш театр Камерным. Но, конечно, эта вывеска ни одной минуты не будет нас связывать. Ни к камерному репертуару, ни к камерным методам постановок мы не стремимся. Напротив, по самому своему существу камерность чужда нашим замыслам и нашим исканиям. Теперь это название театра во многом уже утратило свой первоначальный смысл, но мы сохраняем его, как сохраняет человек имя, данное ему от рождения». И так далее, и так далее.  
КООНЕН. Итак, каков же наш театр? Александр Яковлевич, помните что вы говорили на первом собрании среди ремонта и строительства, тогда в четырнадцатом? Я не собираюсь сейчас объявлять какую-нибудь точную платформу, — сказал Таиров. — Наша платформа заключается в том, чтобы искать новые пути в театре, экспериментировать. Нашей программой будет борьба. Борьба с теми язвами, которые сейчас искалечили театр и завели его в тупик. В первую очередь борьба с мещанской идеологией и пошлостью, с натурализмом, который расцвел махровым цветом.  
ТАИРОВ. В Петербурге, в театре Яворской,  в какой-то мелодраме, роскошный ужин, который устраивает героиня в своих апартаментах. Его привозили в театр из дорогого ресторана. Актеры на глазах у зрителей глотали устриц, на стол подавались куропатки, пылающие в вине, а после ужина в зал неслось благоухание сигар. Публика кинулась на эту приманку. И спектакль шел с аншлагами.  
КООНЕН. Предстоит нам борьба, — продолжал Александр Яковлевич, — и с условным театром. Он тоже объявил войну натурализму, но не может оказать ему должного противодействия, так как отрицает живую эмоцию актёра и превращает его в мертвую маску. Надо вернуть театру театр, вернуть ему его первородное начало, его могущество. Надо раскрепостить актера, раскрыть все средства его сценической выразительности - эмоцию, жест, голос. Актёр должен стать подлинным хозяином сцены!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Аминь.  
ТАИРОВ. Дорогие мои… родные… замечательные…  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Я подхожу, смотрю, они вывеску поновляют. А у меня  книжка в портфеле очень кстати.  
ТАИРОВ. Какими судьбами, Анатолий Васильевич?  
КООНЕН. И почему пешком, без охраны? На вас могут сделать покушение.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Решил лично выступить на открытии диспута о вашем спектакле, потому и заглянул к вам на полчасика, обсудить несколько тезисов.  
ТАИРОВ. Что-то не так, вы же не планировали… А, понял. Будет Мейерхольд?  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Да. Причём, Всеволод Эмильевич намеревается прибыть с внушительным десантом.  
КООНЕН. Неужели он опять спровоцирует примитивную драку. Стенка на стенку. Причём, с обеих сторон культурная молодёжь.  
ТАИРОВ. Он, похоже, совсем перестал понимать, что происходит. Революция – не игрушка.     
ЛУНАЧАРСКИЙ. Охрана, Алиса Георгиевна, наркому просвещения не положена. Да Бог с вами, товарищи, кому я нужен, чай, не Ленин.  
ТАИРОВ. Нельзя недооценивать значение просвещения, особенно сейчас, в первые годы строительства новой страны.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. С оценкой всё в порядке, Александр, не сомневайся, и с самооценкой тоже.  
ТАИРОВ. Мне ли не знать. По-настоящему крупные личности меняются только в истории, а не в быту.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. А пройтись пешком по Тверскому, мамочка моя, это же невероятное счастье, Алиса Георгиевна, обыкновенная человеческая радость.  
ТАИРОВ. Тем более для кремлёвского квартиранта. Извини, Анатолий Васильевич.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Вот-вот! Ты как всегда точен в формулировках. Что – я, у нас принцы пешком по Москве гуляют. Верно, Ваше Высочество?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Наше высочество, господин нарком, попало в Камерный театр, и теперь все прогулки ограничиваются очерченной территорией.  
КООНЕН. О, свет наших очей, Саид Мир Худояр Хан, тебе что-то не нравится в границах территории?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Лиса! Ты выучила моё имя! О, я счастливейший из земных червей, меня знает сама Императрица русского театра.  
КООНЕН. Сейчас как дам подзатыльник.  
ТАИРОВ. В новом сезоне ставлю «Федру».  
КООНЕН. О, да!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да?  
КООНЕН. Да!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да…  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Александр! Я понимаю: Шекспир, «Ромео и Джульетта», известный всем текст, сотни, тысячи интерпретаций. Безобидная история. Каждый человек в душе Ромео или Джульетта, как минимум посочувствуют. Но «Федра»! Мачеха безнадежно влюблена в пасынка. Караул! Разномастная публика. Сейчас двадцать первый год, война на войне, смерть на смерти…  
ТАИРОВ. Жизнь на жизни.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Голод, разруха.  
ТАИРОВ. Радость, согласись, не убиваема.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Ну, так и делай комедию, оперетту, в чём ты великий мастер.  
ТАИРОВ. Трагедия, нужна трагедия. По форме, понятно. Во время гражданской войны семейная трагедия есть самый, что ни на есть, необходимый жанр. Для зрителя. Для человека, зашедшего в театр на огонёк из самого горнила гражданской войны. Не говоря уже об актёрах нашего театра. Таких, как Коонен, Церетелли.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. У меня нет слов.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Позвольте ремарку, Александр Яковлевич. Предлагаю вернуть первоначальное название, что дал сам автор.  
ТАИРОВ. Удивительный народ – актёры, просто сказка. Церетелли уже знает, что будет вести Ипполита. Верно, Николай, вы – Ипполит. Но ставить будем Расина. Переведёт Брюсов, договорились. Уйдём от Расиновского осовременивания, вернёмся к чистой трагедии. Художником попрошу Веснина. Мне видится образ палубы корабля, терпящего крушение. Впрочем, мои соавторы спектакля сами с усами, могут такое предложить, что только ахнешь. «Федра» станет первым нашим спектаклем, в котором эмоциональной стороне будет как бы отдано преимущество. Будет откинуто много подсобных элементов, вроде музыки, сложной декорации. Актёр предстанет перед публикой во всеоружии своего мимического, пластического и декламационного искусства, направленного на раскрытие глубокого и многозначительного трагического замысла.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Таиров неизменен. Риск, риск и риск. Ради красоты. Но Алиса Георгиевна! Вы же так юны для этой роли. Федру во всём мире играют зрелые, опытные актрисы. Да и то лишь величайшие!  
ТАИРОВ. Алиса Георгиевна справится.  
КООНЕН. Знаете, что означает имя Федра? Светлая! Можете представить, что сделал бы с пьесой мой обожаемый Мейерхольд? Назвал бы Светланой, сделал бы её крестьянкой, пасынка – фабричным рабочим и перенёс бы действие в трактир.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Ничего, Алиса, не переживай, нас туда не позвали бы. В интерьер общепита не вписываемся. А без нас на Москве никакой «Федры» быть не может.  
КООНЕН. Ну, Ипполит, скажем, нашёлся бы и не один.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Поставить на сцену можно хоть кого, первую попавшуюся корову и озвучить из-под хвоста монологом Федры, но сыграть Ипполита могу только я.  
КООНЕН. То есть он – Ипполит, а я – случайная корова?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Нет, не случайная.  
ТАИРОВ. Господин Церетелли!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Товарищ.  
ТАИРОВ. Что?  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Господ больше нет, теперь все товарищи.  
ТАИРОВ. Товарищ… Николай, Алиса, идёмте в театр, покажете, что там надумали. Анатолий Васильевич, завтракали?  
ЛУНАЧАРСКИЙ. По-моему, да.  
  
Входит Зорькина.  
  
ЗОРЬКИНА. Эй, постойте! Погодите! Мне на вахте сказали, где-то тут Таиров на бульваре. Ой, товарищ народный комиссар, здрасьте. Вы у нас лекцию рассказывали, хорошо так, складно.  
  
Дорогу перебегает Горошек.  
  
ГОРОШЕК. Александр Яковлевич, похоже, теперь полный порядок. Приветствую, Анатолий Васильевич.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Здравствуй, Семён. Хорошо выглядишь.  
ГОРОШЕК. Так ведь лето, отпуск…  
ЗОРЬКИНА. Эй, я тут раньше пришла.  
ГОРОШЕК. Чего?  
ЗОРЬКИНА. Чего-чего, в очередь, чего.  
ТАИРОВ. Я – Таиров.  
ЗОРЬКИНА. Правда?  
ТАИРОВ. Правда. Какой есть.  
ЗОРЬКИНА. Ну, да. Я хочу в артистки записаться. Мне подсказали, я выучила стих из пьесы, могу танцевать, причём, запросто, петь у нас в родне все голосят, закачаешься.  
ТАИРОВ. Как вас звать?  
ЗОРЬКИНА. Зорькина.  
ТАИРОВ. Александр Яковлевич.  
ЗОРЬКИНА. Кто?  
ТАИРОВ. Так меня звать.  
ЗОРЬКИНА. А! Извините, волнуюсь ведь. Клара. Феоктистовна. Из Тарусы мы, Зорькины.  
ТАИРОВ. Замечательно. Сезон в театре кончился. Принять в основную труппу, к сожалению, не можем, просто нет вакансий. Вам надо поступать в нашу школу, но они сейчас тоже выходят на летние каникулы. Приходите в августе, когда будет проводиться конкурсный набор на курс. А сейчас, простите великодушно, нам надо идти.  
ЗОРЬКИНА. Вопрос! Точно в августе?  
ТАИРОВ. Абсолютно.  
ЗОРЬКИНА. Меня будут ждать?  
ТАИРОВ. Школа при нашем театре всегда ждёт новых соискателей.  
ЗОРЬКИНА. Я не искатель, я уже нашла. Камерный театр и – точка. Так что, берите прямо сейчас, чего ждать. И мне так удобней, чтоб дома сейчас объявить. Им же время надо, чтоб уяснить.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. К сожалению, сейчас невозможно, есть порядок поступления, утверждённый в наркомпросе. Нарушения неприемлимы. Время, товарищи, идёмте.  
ГОРОШЕК. Нарком знает, что говорит.  
ЗОРЬКИНА. Вот тебя спросить забыли! Лезет тут. Хорошо, последний вопрос, товарищ Таиров.  
ТАИРОВ. Да, слушаю вас, Клара Феоктистовна.  
ЗОРЬКИНА. Точно. Наизусть, ишь ты.  
КООНЕН. Вопрос, девушка.  
ЗОРЬКИНА. Извините, женщина, не с вами разговаривают. Товарищ Таиров, вы точно знаете, что меня ждать будут в августе?  
ТАИРОВ. Точно.  
ЗОРЬКИНА. Значит, я смело и ответственно могу оповестить, что поступила в Камерный театр?  
КООНЕН. Всё, хватит. У вас ворох последних вопросов. Делайте, как знаете. Прощайте, до августа.  
ЗОРЬКИНА. А она кто?  
ГОРОШЕК. Дитя Тарусы, это же Алиса Коонен.  
ЗОРЬКИНА. Да ладно… Сама? Ох, точно она. Сама! (Визжит.) Алиса!!!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Какой голос, восторг.  
ГОРОШЕК. Кончай визжать, девушка, уши вянут.  
ЗОРЬКИНА. Тронуть! Дайте тронуть! Алиса Коонен, дайте мне вас тронуть или я умру!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Пойду, извините. Я – на сцене. (Уходит.)  
ТАИРОВ. Алиса, и нам пора. Идёмте, Анатолий Васильевич.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Для диспута мне необходимы точные сведения о постановочной группе, поимённо… (Уходит с Таировым.)  
КООНЕН. Трогайте уже, товарищ, да я пойду. Ну же.  
ЗОРЬКИНА (трогает Коонен). Ой. Тёплая.  
КООНЕН. Теплюсь-теплюсь, не сомневайтесь. Всего хорошего. (Уходит.)  
ЗОРЬКИНА. Я такая чумная.  
ГОРОШЕК. Ага.  
ЗОРЬКИНА. Чего «ага»!  
ГОРОШЕК. Взволнованная, очаровательная.  
ЗОРЬКИНА. Ну, да. Какие люди! Не то, что мы. А кто был тот мужчина, красивый такой, азиатский?  
ГОРОШЕК. А, Николай Михайлович.  
ЗОРЬКИНА. Напоминает кого-то, сообразить не могу.  
ГОРОШЕК. Может быть, себя и напоминает.  
ЗОРЬКИНА. Спектакли все видела, всю массовку опознаю, а этот – директор, что ли, что не знаю.  
ГОРОШЕК. Это был Церетелли.  
ЗОРЬКИНА. Николай?  
ГОРОШЕК. Николай.  
ЗОРЬКИНА. Николай Церетелли?  
ГОРОШЕК. Да.  
ЗОРЬКИНА. Вот здесь стоял Николай Церетелли!? Рядом со мной!?  
ГОРОШЕК. Да успокойтесь, вас трясёт.  
ЗОРЬКИНА. Николай Церетелли… бог мой. (Падает в обморок.)  
ГОРОШЕК (подхватывает Зорькину.) Ох, ты чёрт! Доктора! А? Что делать!? Помогите! Девушка, девушка! И – никого нигде. Не ожидал, такая, вроде, крепкая. Ох, придётся грубо взять и отнести! Эй! Эй, не умирай! (Уносит Зорькину через дорогу, в театр.)  
  
  
Лето. Парижская улочка. Вечер. Входит Бертран, с поклажей. За ним, поодаль, идёт Расстегаев. Бертран резко останавливается, обернувшись к Расстегаеву.  
  
РАССТЕГАЕВ. Ох! Виноват. Господин Бертран…  
  
Со спины к Расстегаеву подходит Арабель, с револьвером.  
  
АРАБЕЛЬ. Не двигаться, пристрелю.  
РАССТЕГАЕВ. О, нет, я не грабитель! Сержант! Я русский казак, помните? Вахмистр Расстегаев – я. Мы вместе в Крыму выполняли задания наших командований, в восемнадцатом! Когда германцы десант на Тамань бросили.  
БЕРТРАН. Твой позывной?  
РАССТЕГАЕВ. Сокол. Я – Сокол, а ты – Кабан!  
БЕРТРАН. Верно. Тебя не узнать.  
РАССТЕГАЕВ. Увидел тебя на рынке, постеснялся окликнуть. Прости, что напугал, не хотел. Я в затруднении. А ты даже в гости приглашал, у меня есть твой адрес в Дижоне.  
БЕРТРАН. Трудно узнать.  
АРАБЕЛЬ. Почему же не приехал в гости?  
РАССТЕГАЕВ. Бургундия для меня не ближний свет. Да и неловко. Надеялся своими силами.  
АРАБЕЛЬ. Побираешься?  
РАССТЕГАЕВ. Да.  
БЕРТРАН. Здравствуй, Всеволод.  
РАССТЕГАЕВ. Здравствуй, Жюль.  
БЕРТРАН. Арабель, это тот самый русский, кто вытащил меня из большевистского плена.  
РАССТЕГАЕВ. Да ладно, союзник, ты меня тоже выручал.  
БЕРТРАН. Верно. И не раз. Шоколадом на закуску! Поехали. У нас, с Арабель, под Дижоном замечательный виноградник.  
АРАБЕЛЬ. Арабель.  
РАССТЕГАЕВ. Всеволод Расстегаев. Просто Сева.  
АРАБЕЛЬ. Добро пожаловать, дорогой гость.  
РАССТЕГАЕВ. Благодарю.  
БЕРТРАН. Арабель, возьми тюк.  
РАССТЕГАЕВ. Я помогу нести!  
БЕРТРАН. У меня возьми, тюк лёгкий, а вот мои руки уже отрываются. Пойдём уже, нам ещё добираться.  
АРАБЕЛЬ. Не ближний свет. (Уходит с Бертраном и Расстегаевым.)  
  
  
Осень. Ночь. Театр. Подсобное помещение, оборудованное для отдыха Таирова и Коонен. Коонен дремлет на диване, с книгой. Входит Таиров.  
  
КООНЕН. Не осторожничай.  
ТАИРОВ. Спи-спи, малыш.  
КООНЕН. Ложишься?  
ТАИРОВ. Неловко признаться, но да. Ура.  
КООНЕН. Ура-ура-ура.  
ТАИРОВ. Веснин доволен, я счастлив, наконец-то макет готов, можно строить.  
КООНЕН. Саша, я боюсь.  
ТАИРОВ. Тебе-то чего бояться, ты-то как раз в порядке. А вот Коля, конечно, мучается. Его восточная внешность покуда сильнее римского воина.  
КООНЕН. Справится?  
ТАИРОВ. Должен. Другого Ипполита у нас нет. И не надо. Справится и будет, как всегда, гениален. Алиса, тебе не следует оставаться на ночь в театре, спи дома.  
КООНЕН. Я с тобой.  
ТАИРОВ. Физическое здоровье дороже. Но главное, малыш, что ты остаёшься здесь не из-за нас, а из-за Федры. Не можешь расстаться.  
КООНЕН. Разве дурно?  
ТАИРОВ. Не знаю. Не знаю, дорогая. Трагедию мы ставим впервые, кто знает, чем чревата близость с образом. Не знаю.  
КООНЕН. Сделаю Федру, а там хоть потоп.  
ТАИРОВ. Но-но! Театр важнее одного спектакля, даже такого.  
  
Стук в дверь.  
  
КООНЕН. Не может быть! Слышишь?  
ТАИРОВ. Нет.  
КООНЕН. Кто-то стучит к нам.  
ТАИРОВ. Веснин, конечно. Я уже спал. (Идёт к двери.)  
КООНЕН. Завтра точно уйду домой, не могу смотреть, как ты себя не бережёшь. И никто не бережёт.  
  
В дверях – Церетелли.  
  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Мне надо пойти на кладбище.  
КООНЕН. Что? Четыре ночи!  
ТАИРОВ. Ну, ничего, значит, Коле так нужно. Да, оденусь только. (Уходит в смежную комнату.)  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. На улице дождь! Оденьтесь теплее.  
КООНЕН. Коля, ты с ума сошёл?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вот как раз этим и занят. Делаю всё, чтобы остаться.  
КООНЕН. Где?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. В уме.  
КООНЕН. Зачем же Александра Яковлевича тянуть за собой?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Больше некого. Я же вас не разбудил.  
КООНЕН. Именно, что разбудил!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Как можно спать с этой замечательной трагедией. С ней, как с прекрасной женщиной, заснуть нельзя.  
КООНЕН. Ну, и не спал бы один, Таирова щадить надо!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. А ему она нужна, наша пощада? Нет, Алиса Георгиевна, нет. Как сама?  
КООНЕН. Ужасно. Как объявили, что выпускаем «Федру», меня просто осадили, замучили заботой. Все мхатовские старики приходили или присылали кого-нибудь, отговорить. Южин отчитывал Таирова, как самого натурального палача.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Ты – великая, Алиса, выдюжишь.  
КООНЕН. Я – великая?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да. И ты, и Таиров. А главное, наш Камерный. Величественнее Расина и Еврипида. И я. Да, я тоже великий. Надо только ещё лет пять-десять, чтобы это уяснилось всеми, уложилось в сознании критики, и оформилось историческим фактом. Нет, Таиров величественнее нас всех, вместе взятых, он наравне с самим театром. Значит, мы сейчас не великие, а просто выдающиеся. Сейчас. Пока. А уже потом. Но при всём том, без меня ещё можно обойтись, а без тебя уже нет. Не спорь, не возражай, не хвали меня, пожалуйста, ты знаешь, я прав. Меня надо заменить.  
КООНЕН. Нет!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Не спорь. Я слишком бухарский принц, чтобы стать римским воином. Королевская кровь, конечно, кстати, хотя эмират – не империя, но всё же. А вот Бухара… прёт изо всех пор!  
КООНЕН. Коля, послушай меня.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Нет! Я же просил, не надо рассказывать, какой я замечательный. Я знаю о себе много, если не всё. И потому уверен, что Ипполит – не я. Набрал студию. И ведь замечательный же набор! Не справляюсь. Зачем было вообще начинать, столько людей смутил. Мода, все открывают свои студии, и я туда же.  
КООНЕН. Ну, ты же с Женей Вахтанговым вместе учился, семена-то посеяны те же. Могло бы и получиться.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Там есть молодой человек, Юлик Хмельницкий, вот уж кому и бог дал, и сопротивления никакого с Ипполитом. Если не оставит нашего ремесла, выйдет мне замена. Я многое знаю, ещё больше предвосхищаю, но ничего, оказывается, не умею! Ни как педагог, ни как режиссёр. Я только актёр и – всё. С ярко выраженной восточной внешностью. И если бы не доброта Таирова, век бы мне торчать в мимансе, изображать народные массы. Да там и другие ребята очень и очень наши!  
КООНЕН. Но кладбище-то тебе сейчас зачем?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Кладбище? Какое?  
КООНЕН. Я не знаю, куда ты собрался с Александром Яковлевичем.  
  
Входит Таиров.  
  
ТАИРОВ. Николай, я правильно оделся?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Куда?  
ТАИРОВ. На кладбище.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. А зачем нам туда? Нет, конечно, если вы считаете, что ночной поход на кладбище необходим для Ипполита, я – с радостью. Вернее, без радости, но пойду. Да.  
ТАИРОВ. Думаю, поможет. Уверен.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Правда!? Я готов.  
ТАИРОВ. Замечательно. Мы, втроём, по душам редко встречаемся. Впрочем, и сейчас не время. Но хочу признаться, я счастлив, что у нашего театра два таких потрясающих актёрских лидера. Вы оба – мои кумиры. Вспомнил! Мне сегодня пришло письмо. Из Парижа. Не просто письмо, приглашение. Где же оно? Вот! Написал директор Theatre des Champs Elysees, господин Жак Эберто. Пишет, что слышал о Камерном театре самые восторженные отзывы.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вот так.  
ТАИРОВ. Нас приглашают принять участие в интернациональном сезоне, в Париж. А, каково? Соблазнительно показать наши спектакли в Париже?  
КООНЕН. Желаем! Все!  
ТАИРОВ. Завтра же снесусь с Луначарским.  
КООНЕН. Когда?  
ТАИРОВ. В феврале двадцать третьего. Через год с лишним, уйма времени. А ещё у меня возникла идея с опереттой, примемся сразу после премьеры «Федры».  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Надеюсь, мы не повезём в Париж «Федру»?  
ТАИРОВ. Напротив.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Александр Яковлевич, меня надо срочно заменить. Я не справляюсь с образом. Он сильнее меня!  
ТАИРОВ. Так всё, Коля, пошли.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Куда?  
ТАИРОВ. На кладбище.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вы помните? Как хорошо. У меня такая же мысль была, а мотивации найти не мог. Как прекрасно, что я к вам зашёл! Я жду вас на выходе.  
ТАИРОВ. Нет уж, теперь вместе, до конца, не расставаясь, до гробовой доски.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Хорошо бы.  
ТАИРОВ. Porro! Впрочем, латынь не к месту. De l'avant! Так точнее.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. А по-русски?  
ТАИРОВ. Вперёд! Алиса, спи спокойно, мы вернёмся. (Уходит с Церетелли.)  
КООНЕН. Спи? Ага, сейчас. Нет уж, Федра так Федра.  
/здесь уместен фрагмент из «Федры» в переводе В.Я. Брюсова/  
Репетировать! На сцену, на сцену… (Уходит.)  
  
  
1922 год. Февраль. Коридор в Кремле. Идёт Луначарский, навстречу – Литвинов.  
  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Ну как?  
ЛИТВИНОВ. Грандиозно! Шедевр – не то слово, не передать!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. А я вам, что говорил.  
ЛИТВИНОВ. Ничего подобного в Европе нет. «Федра» - совершенство! У нас есть настоящая трагическая актриса! С ума сойти!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. А Церетелли?  
ЛИТВИНОВ. О, да. И не скажешь, что узбек, утончённый аристократ, настоящий римский солдат, просто невероятный актёр! Актёрище!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. А какая умопомрачительная красота от режиссёра, а? Гений.  
ЛИТВИНОВ. Таиров более, чем гений, он сам – театр. Не Камерный, нет, вообще, как само понятие. Таиров - театр во плоти! Чудо.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Владимир Ильич дал добро на поездку Камерного театра в Париж. Я только что от него.  
ЛИТВИНОВ. Не сомневался, Старик прозорлив. Но боязно, нет?  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Ещё как. Так-то бы я уверен в избранном репертуаре, но «Федра» в Париже!  
ЛИТВИНОВ. Таиров решается на такое? Да он с ума сошёл. Сара Бернар ещё жива, прости, товарищ господи, публика не примет. Анатолий Васильевич, надо отговорить.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Потому-то и шёл к вам. Я, хоть и нарком, но старый друг и всё же по линии просвещения. А вы – другое дело.  
ЛИТВИНОВ. Хотя и замнаркома, но всё же по иностранным делам.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. И друг театра. Александр к вам очень прислушается, всё же вы знаете нынешнюю Европу не понаслышке и театральную в частности.  
ЛИТВИНОВ. Официальных отношений с Францией мы не имеем. Правая буржуазная пресса шипит о большевистских ужасах. В Париже сосредоточена огромная масса белоэмигрантов. Как видите, ситуация сложная. Театру там придётся хорошо собраться, не отвлекаться впечатлениями, которые, естественно, нахлынут в поездке, и держать спектакли и каждому свою роль на самом высоком уровне. Отношение к Советской России там резко противоречиво: с одной стороны, недоверие ко всему, что исходит из нашей страны, с другой — большое любопытство. Но в передовых кругах художественной интеллигенции будет интерес другого порядка. Они станут ждать от Таирова новых идей, новых мыслей, новых исканий.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Кого вы назвали бы в числе прогрессивных художников, интересующихся нашим искусством?  
ЛИТВИНОВ. Не сомневаюсь, что искать дружбы с Таировым станут Жемье, Бати, Дягилев, Пикассо, Леже, Кокто.  
  
Входит Дзержинский.  
  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Приветствую, товарищи.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Доброе утро, Феликс Эдмундович.  
ЛИТВИНОВ. Здравствуйте.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Все мы, Максим Максимович, положили линую жизнь на алтарь революции, просто ваше служение заключается в том, чтобы всё было по правилам и красиво, а моё – следить за тем, чтобы алтарь не был пуст.  
ЛИТВИНОВ. Всему есть пределы, товарищ Дзержинский.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Ни вы, ни я пределов не устанавливаем, на всё есть линия партии. Террор, товарищ Литвинов, пока никто не отменял.  
ЛИТВИНОВ. Я подал записку в Центральный Комитет.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Знаю, читал.  
ЛИТВИНОВ. Только наладишь деловые контакты с фирмой, а её представители уже расстреляны. И ведь не раз, не два. Государство нуждается не только в сиюминутных денежных вливаниях, но и в долгосрочных контрактах. Надо же это понимать.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. А я понимаю. Потому и нет у меня к вам никаких претензий. Просто у каждого свой участок работы и своя ответственность. Мы оба правы. Вчера ночью говорили с Лениным. Ильич отдал распоряжение наркомату юстиции ввести законодательные рамки, не отменяя террора. Враг ещё силён. Нет у нас другого пути, товарищи. Покуда нет. Товарищ Луначарский, нам, с вами, очень надо встретиться, обсудить комплекс мероприятий по линии наркомата просвещения в отношении улучшения жизни детей.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Да-да, беспризорность – страшный бич республики. По самым приблизительным подсчётам пять миллионов бесхозных детей.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Уже меньше. Так вот, насчёт этого самого «меньше» нам и надо поговорить. Детские дома, городки, коммуны нуждаются во внимании не только педагогов, но и деятелей профессионального искусства.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Понимаю.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. А я не понимаю, зачем нам буржуазные «Федры» и прочие Таировские игрушки с бирюльками. Нужны детские спектакли, концертные выступления, с репертуаром целенаправленно относящимся к детству, особенно неблагополучному. По данному вопросу, товарищ Луначарский, готов к общению в любое время суток.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Согласен. Горячо «за». Немедленно займусь.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Детство – это святое, потому что есть оно будущее нашего государства, а сиротство - его опора.  
ЛИТВИНОВ. Щит и меч?  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Именно! И щит, и меч. Аминь! Государство должно стать сиротам мамами-папами, чтобы не сомневались, кому они обязаны жизнью. И воспитывать, воспитывать, воспитывать.  
ЛИТВИНОВ. В целом, верно.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Простите, помешал вашей беседе. Товарищ Литвинов, честное партийное слово, ни обиды, ни зла за вашу рабочую записку на вас не держу. Вы правы. Всего доброго. (Уходит.)  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Поразительный человек. Какие крайности уживаются в одной душе. Вот уж воистину персонаж для современной трагедии. Слышали его афоризм? «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка».  
ЛИТВИНОВ. Озорно. «Hell is full of good meaning and wishings».  
ЛУНАЧАРСКИЙ. «Ад полон добрыми намерениями и желаниями».  
ЛИТВИНОВ. Точно. Английский богослов XVII столетия Джордж Герберт написал это в книге «Jacula prudentium».  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Неужели нельзя по-другому.  
ЛИТВИНОВ. Можно. Но Таиров один, им одним всю страну красотой не охватишь.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Будут, будут Таировы, Вахтанговы будут. Радость и красота – единственное, что нужно человечеству, да другого и не надо.  
ЛИТВИНОВ. Вахтангов умирает. Почему он с Таировым не поладил. Может, и к лучшему, нам неведомо.   
ЛУНАЧАРСКИЙ. Значит, богословие утверждает, что райская дорога ведёт в ад. Ну, мы – атеисты, у нас свой путь: в рай – по адской дороге. Как-то так.  
ЛИТВИНОВ. Если откровенно, я уверен в «Федре», но рисковать в первой зарубежной гастроли театра из Советской России мне кажется неразумным.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Вот попробуем, с обеих сторон, уговорить. Хотя успех русской «Федры» на родине Расина – это было бы больше, чем успех.  
ЛИТВИНОВ. Это был бы триумф. Причём, поверьте старому дипломату, не только театральный. Но и политический, что гораздо важнее.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Да-да, государство нуждается в прорыве на интеллектуальном уровне. И что всего существеннее, в прорыве душевной блокады России остального мира.  Прощайте, Максим Максимович. (Уходит.)  
ЛИТВИНОВ. Прощайте. Чёрт знает, может, и не вмешиваться. Таиров до сих пор не проиграл ни одной битвы. Он что-то знает про этот мир такое… может, и не знает, но чувствует его зерно. Дай ему товарищ бог всего хорошего… и нас не забывай.  
  
Входит Дзержинский.  
  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. А вы, товарищ Литвинов, уверены, что Таиров вернётся? Товарищ Луначарский ушёл, жаль. Они старые друзья, с него спросить бы. Что, если он останется в Европе? Коонен – подданная Бельгии.  
ЛИТВИНОВ. Она москвичка с рождения, подданство – дань уважения к отцу.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Церетелли тоже не местный, возможно,  не наш. Здесь голод, холод, разруха, Дзержинский. Вот так, со всем скарбом, на всеобщее мировое обозрение, ба-бах и – в дамки. А?  
ЛИТВИНОВ. Таиров вернётся. Он живёт ради театра, а Камерный театр возможен только при стабильной государственной поддержке, без подлых капиталистических уловок, которых Александр Яковлевич хлебнул сполна. Советское государство вернуло ему прежнее здание, присвоило звание Академический, со всеми соответствующими материальными подпорками. Таиров вернётся.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Ну, да ведь родственники есть у всех, уж они-то точно ответят на все нами поставленные вопросы. Если, конечно, они возникнут.  
ЛИТВИНОВ. Феликс Эдмундович, все мы люди, верьте нам, как себе.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Не верю. Я в детстве мечтал стать ксёндзом. Священник – такое ёмкое слово, такой могущественный смысл. Так верил, так верил!.. и вдруг – хлоп, а бога-то нет. Не надо, ничего не говорите. Думаю, нам ещё предстоит встретиться по поводу гастролей Таировского театра. Наговоримся. (Уходит.)  
ЛИТВИНОВ. C'est la vie, camarades, c'est la vie. Rien n'y fit. (Уходит.)   
  
  
1923 год. Февраль. Франция. Дижон. Двор фермы. Бертран плотничает. Входит Арабель, с ведром молока.  
  
АРАБЕЛЬ. Я – на рынок, Жюль. Молоко всё сдадим или как?  
ГЕРЕН. Всё, всё.  
АРАБЕЛЬ. Кто-то пришёл, кажется, калитка стукнула. (Уходит.)  
ГЕРЕН. Не жалей молоко, людям – здоровье, нам – деньги. Не жалей.  
  
Входит Герен.  
  
ГЕРЕН. Честь труду.  
БЕРТРАН. Благодарю, присоединяйтесь, на всех трудов хватит. Капитан!? Вот это сюрприз!  
ГЕРЕН. Герен. Никаких капитанов, сержант. Ты – Жюль, я – Гаспар. Война кончена. Если такое вообще возможно.  
БЕРТРАН. К столу?  
ГЕРЕН. Нет, благодарю. Дело к тебе.  
БЕРТРАН. Со всем уважением, слушаю. Гаспар?  
ГЕРЕН. Точно так, Жюль. Уединиться бы.  
БЕРТРАН. Жена уехала на рынок, работники - за пределами двора, мы одни.  
ГЕРЕН. Жена, небось, молоденькая, богатенькая бургундочка…  
БЕРТРАН. Нет. Фронтовое родство – штука странная, оказывается, прилипчивее мирных отношений. Сам удивляюсь, прибились друг к другу, и нам – хорошо.  
ГЕРЕН. И как она?  
БЕРТРАН. Коровы, коровы, коровы и всё, что эта скотина даёт, больше никаких, слава тебе, господи, посторонних мыслей.  
ГЕРЕН. Хорошо. Появилась возможность и ссуду погасить, и все кредиты закрыть, и остаться с прибылью.  
БЕРТРАН. Быть не может, ты тоже стал фермером?  
ГЕРЕН. Я – о тебе.  
БЕРТРАН. Прости, Гаспар, я никогда особенно не задумывался, а теперь и вовсе отказался от этой нагрузки.  
ГЕРЕН. Нужно ликвидировать проблему. Человеческую проблему.  
БЕРТРАН. А говорили, господин капитан, что в отставке.  
ГЕРЕН. Армия не при чём, Жюль. Чисто гражданский бизнес. Я в нём тоже новичок. Ну, не совсем, но всё же.  
БЕРТРАН. Гарантии оплаты?  
ГЕРЕН. Гонорар сполна и сейчас же. Под расписку, конечно. По выполнении работы, закроем и банковские вопросы, в течение суток.  
БЕРТРАН. Мне нравится. Но расписка.  
ГЕРЕН. Это для меня. Реальные расчёты ведутся со мной. Ты проходишь, как анонимный помощник.  
БЕРТРАН. Аноним и кредиты?  
ГЕРЕН. Во всяких хлопотах есть издержки. Скажем, что аноним тебе задолжал.  
БЕРТРАН. Детский лепет на лужайке, Гаспар.  
ГЕРЕН. Отказываешься?  
БЕРТРАН. Предположим.  
ГЕРЕН. Придётся в кратчайшие сроки выплатить и ссуду, и кредиты. То есть остаться без кола и двора.  
БЕРТРАН. Но-но!  
ГЕРЕН. В чём загвоздка?  
БЕРТРАН. Как-то очень складно.  
ГЕРЕН. Проблема международная, потому всё просто и без обиняков. Как мировая война. Великая война. Политики и газетчики так теперь называют эту мясорубку.  
БЕРТРАН. Человек для меня давно не проблема. А вот благосостояние фермы и виноградников – это серьёзно. Я согласен. Если меня иногда будут и впредь привлекать, время от времени, к подобным пакетам, возражать не стану.  
ГЕРЕН. Отлично. (Достаёт пакеты из сумки.) Вот деньги.  
БЕРТРАН. Ого! Увесисто.  
ГЕРЕН. Прочти бумагу и распишись. Вот самописка. (Подаёт ручку.)  
БЕРТРАН. Германская.  
ГЕРЕН. Да? Мне всё равно.  
БЕРТРАН. Солидарен. Отличный документ, всего десяток слов и никаких комиссий. (Подписывает.) Вот расписка, вот самописка.  
ГЕРЕН. В этом пакете все исходные данные для работы. Оружие, по необходимости, доставлю. У тебя месяц на подготовку, но с планом лучше уложиться пораньше. Тем более, что гастроли начинаются уже на следующей неделе.  
БЕРТРАН. Гастроли?  
ГЕРЕН. Объект – театральный режиссёр из России.  
БЕРТРАН. То есть лопух.  
ГЕРЕН. Совершенно верно. Без специальной охраны. Есть там кто-то, но несерьёзно. Хотя разберись. С ним супруга, ведущая актриса. По ней никаких ограничений и никаких целей.  
БЕРТРАН. Может жить. Режиссёр-то чем заслужил честь быть убитым наёмным убийцей?  
ГЕРЕН. Ты стал любопытен?  
БЕРТРАН. Нет-нет, земля ему пухом.  
ГЕРЕН. Объект – фигура чрезвычайно общественная, спрос на него огромный, поэтому будет постоянно в окружении наших звёзд. С ними аккуратно, не задень.  
БЕРТРАН. Например?  
ГЕРЕН. Жан Кокто, Пабло Пикассо.  
БЕРТРАН. Не знаю.  
ГЕРЕН. А Сару Бернар знаешь?  
БЕРТРАН. Что-то слышал на фронте, ребята трепались. Певичка?  
ГЕРЕН. Великая трагическая актриса Франции мирового значения!  
БЕРТРАН. Вот ведь какая великая, аж не разглядеть. Так бывает. Это плохо?  
ГЕРЕН. Это замечательно. Ну, а Таирова ты точно не знаешь. На то и расчёт. Нужен исполнитель без сантиментов и квасного патриотизма.  
БЕРТРАН. Патриотизм придуман для дебилов, как и брак. Если любишь, не трепись, просто тихо и мирно учись любить вечно.  
ГЕРЕН. Люблю тебя, Жюль. В этом пакете есть всё, что касаемо объекта.  
БЕРТРАН. Без особенных проблем, похоже?  
ГЕРЕН. Есть ещё две вещи. Первое. Дату и место исполнения выберу я из твоих вариантов. Второе. Убийцей должен стать русский эмигрант. Желательно бывший военный. Его должны обнаружить мёртвым, с оружием. Среди твоих работников, может быть, кандидатуры найдутся?  
БЕРТРАН. Нет, капитан, русских в работники ни один вменяемый хозяин не возьмёт.  
ГЕРЕН. Боитесь бунта?  
БЕРТРАН. Нам, с Арабель, давно никто не страшен. Просто русские не умеют и не хотят работать на земле, вот и вся заморочка.  
  
Мимо проходит Расстегаев.  
  
РАССТЕГАЕВ. Жюль, я – за лопатами, как ты просил, и сразу обратно. (Уходит.)  
ГЕРЕН. Это - Сокол!?  
БЕРТРАН. Он.  
ГЕРЕН. А говорил русских нет.  
БЕРТРАН. Да какой он русский, он – казак. Совсем другая порода, руки выросли из нужного места, работа спорится.  
ГЕРЕН. Ну, так и привлеки его к нашей работе, до определённого момента.  
БЕРТРАН. Теперь обязательно, чтобы он?  
ГЕРЕН. Нет. Просто у вас спайка, проверенная делом. Кроме того, он может существенно облегчить подготовительную работу. Потолкается среди своих, пообщается, может, к самой Таировской труппе найдёт подход, сблизится. Хоть и казак, а язык у них один – русский. Сам решай.  
БЕРТРАН. Решу.  
ГЕРЕН. В любом случае, придётся перебраться в Париж. Помочь?  
БЕРТРАН. Нет.  
ГЕРЕН. Всё, бывай, сержант Бертран Жюль. Связь односторонняя. Телефон на ферме есть. Через недельку время пересечёмся, ознакомишь с идеями. А-то и с окончательным планом. Рад за тебя. (Уходит.)  
  
Входит Арабель.  
  
АРАБЕЛЬ. Я слышала Герена.  
БЕРТРАН. Кто бы сомневался, лазутчица ты моя.  
АРАБЕЛЬ. Прослежу за ним, сколько смогу. От подобных неожиданностей, по уму, нужно гаситься, но очень уж хорош куш, хотя бы подстрахуемся, сколько возможно.  
БЕРТРАН. А молоко?  
АРАБЕЛЬ. Скажи своему казаку, пусть снесёт. Прибери пакеты с глаз. Вернусь, проверим купюры. Привлеки его, Жюль.  
БЕРТРАН. Так-то бы он мне жизнь спас.  
АРАБЕЛЬ. А теперь пусть спасёт ферму. Мы в честь него будущего сына назовём, если соберёмся. Или любимую собаку. (Уходит.)  
БЕРТРАН. Придётся. Проще, когда всё под рукой.  
  
Мимо проходит Расстегаев, со связкой лопат на плече.  
  
РАССТЕГАЕВ. Что-то ещё, кроме ямы, надо там делать?  
БЕРТРАН. Нет, Сева, иди.  
РАССТЕГАЕВ. Ох, дорогой мой боевой товарищ, знал бы ты, как я опять полюбил жить. (Уходит.)  
БЕРТРАН. И в этом мы, с тобой, как братья. (Уходит в дом с пакетами.)  
  
  
1923 год. Конец февраля. Утро. Париж. Номер в отеле «Гровенор». Входит Зорькина.  
  
ЗОРЬКИНА. Алиса Георгиевна? Эй! Эй-е-ей! О-го-го, я пришла!  
  
Из спальни выходит Коонен.  
  
КООНЕН. Слушаю?  
ЗОРЬКИНА. Я стучала-стучала. Меня прислали помочь вам устроиться. Не узнали? Я – Зорькина, Клара я. Из народных масс.  
КООНЕН. А репетиция?  
ЗОРЬКИНА. Вы не знаете? Меня ещё в Москве перевели в костюмеры. А сегодня я там всем только мешаю. Вот, прислали к вам. Не помешаю?  
КООНЕН. Нисколько. Открываем окна, Клара Зорькина. Сегодня ясный, солнечный день и Париж! Ура! Осторожнее, не сорвите шторы.  
ЗОРЬКИНА. Сорву – починю, я умею. А чего «ура»-то? Какой-то обыкновенный город, наша Москва – вот город, один Кремль чего стоит. А тут всё как-то.  
КООНЕН. Как тогда, на углу стоят толстые краснощекие женщины возле корзин с нарциссами, фиалками, тюльпанами. Весёлые какие. Париж, Клара Зорькина? Когда я впервые приехала сюда, летом четырнадцатого года, Париж поразил меня тем, что ничем не поразил. Париж! Давняя мечта стала явью. В этом прекрасном городе ничто меня не поражало, ничто не бросалось в глаза. Париж сразу показался мне издавна близким, милым и встречал нас, как радушный хозяин старых друзей. Красивые витрины, расставленные на тротуарах столики кафе с сидящей публикой, постукивали каблучки идущих женщин. Бросилось в глаза то, что все они были элегантно, но скромно одеты, их костюмы и летние платья никак не были похожи на «парижские туалеты» богатых московских дам. Когда я сказала об этом Киму Маршаку, он рассмеялся и сказал: Это только в представлении русских парижанки - необыкновенно шикарные женщины и все до одной пожирательницы мужских сердец. На самом деле они добродетельны, прекрасные жены и великолепные хозяйки, хорошо знающие цену каждому сантиму. Кима Маршак – друг детства Александра Яковлевича. Он и сегодня нас встречал.  
ЗОРЬКИНА. В четырнадцатом же, летом, война началась. И театра же ещё не было, нам в школе рассказывали.  
КООНЕН. Да, я тут попала как кур в ощип.  
ЗОРЬКИНА. Расскажите, пожалуйста!  
  
Из спальни выходит Таиров.  
  
ТАИРОВ. Клара Феоктистовна?  
КООНЕН. Её направили помочь мне обустроиться, я не просила.  
ТАИРОВ. Спасибо, Клара Феоктистовна, но как только Алиса Георгиевна вспомнит, что она вполне может справиться и сама, а для помощи в парижских отелях имеются соответствующие работники, то немедленно отправляйтесь в театр. Там сейчас каждая пара рук на вес золота.  
КООНЕН. Александр Яковлевич, я прекрасно справлюсь одна, можете взять с собой Клару.  
ТАИРОВ. Не сердись, малыш, если показался груб, я просто в напряжении. Мой первый поход к журналистам. Там уже и Дягилев, и Жене.  
ЗОРЬКИНА. Александр Яковлевич, меня прогнали сюда из театра, потому что руки золотые. Золото же тяжёлое, с трудом ворочаю. Всё ломаю, крушу, рву.  
ТАИРОВ. А, ну, тогда, конечно, лучше орудуйте здесь.  
ЗОРЬКИНА. Мне так и сказали, в гостинице есть кому делать ремонт после тебя, Клара.  
КООНЕН. Александр, я выйду в город, вспомнила сейчас август четырнадцатого. Хочу отблагодарить ту хозяйку отеля, что приютила меня тогда.  
ТАИРОВ. Да, замечательно. Ты умница. Предложи ей билеты, лучше на «Федру». Чтоб видела, кого, по доброте сердечной, буквально спасла!  
ЗОРЬКИНА. Алиса Георгиевна, вы попали в плен к французам?  
ТАИРОВ. Клара Феоктистовна, мы, с французами, были союзниками. Но ситуация лично для Алисы Георгиевны сложилась очень и очень. Всё, заболтался. Если что, я – в холле. Малыш, будь осторожна, мы сейчас приехали не из Николаевской империи, а из Советской России. Дураков и психов, врагов и завистников здесь для нас припасено немало. То же касается и вас, товарищ Зорькина. (Уходит.)  
ЗОРЬКИНА (вослед). Я помню, вы предупреждали всех на собрании! Он такой грандиозный! Знает всех по имени-отчеству, даже меня, никчёмную.  
КООНЕН. Во-первых, никчёмных людей в Камерном театре нет, их у нас не задерживают. Во-вторых, Камерный – это только название, на самом деле это Таировский театр.  
ЗОРЬКИНА. Ну, да все так и говорят. А что, что случилось тогда с вами в Париже?  
КООНЕН. Надо разобрать чемоданы, после поговорим.  
ЗОРЬКИНА. Жалко вам, что ли! Я же в жизни нигде не была, ничего не видела! Одни сплошные сплети всю жизнь! Надоело! А про правду ни слова никто! Вы же живая пока ещё, что я потом детям с внуками расскажу, как я молча чемоданы ваши разбирала? Они же мне скажут: мало, что таланта нет для сцены, так ещё и дура.  
КООНЕН. Ну-ну, не плачьте…  
ЗОРЬКИНА. Ни дара, ни ума, чем же жить. Что, и поплакать нельзя…  
КООНЕН. Можно, можно…  
ЗОРЬКИНА. Я же по вам страдаю. Я же наш Камерный театр вместо церкви обожаю. Я же на Таирова молюсь.     
КООНЕН. Зачем же, есть храмы…  
ЗОРЬКИНА. Да запретили нам всё религиозное. И Христа, и Богородицу, и даже самого Бога упразднили. А я же человек, мне же надо во что-то верить, надеяться надо, любить. Чего-то я не то хочу, что ли, не так, да?  
КООНЕН. Тогда, в июле четырнадцатого года я отдыхала на побережье, в Бретони. И вдруг, однажды, ночью, меня разбудил гул колокола. И потом голос. По городку ехал велосипедист и кричал: «Объявлена война! Объявлена война!» Быстро одевшись, я побежала на улицу. Из всех домов выбегали люди. Человеческий поток стремительно двигался к церкви. На маленькой площади зловещим пламенем горели два факела. Стиснутая толпой, я скоро очутилась в церкви у самою амвона. Местный кюре, принадлежавший к ордену иезуитов, говорил проповедь. Собственно, он не говорил ее, а по-актерски разыгрывал: воздевая руки к небу и закатывая глаза, он просил благословения всевышнего, извиваясь и скрежеща зубами, изображал, как будут мучиться в аду те, кто вздумает уклониться от выполнения своего долга перед родиной. Мне казалось, что я присутствую на каком-то странном театральном представлении. Глядя на кюре, я на минуту вспомнила знаменитого итальянского трагика Грассо, который, обнаружив роковой медальон на шее возлюбленной, с таким неистовым темпераментом катался по полу, что едва не упал в зрительный зал. Но на людей, собравшихся в церкви, проповедь производила сильнейшее впечатление. Женщины исступленно молились, мужчины стояли торжественные, строгие. Отсветы факелов, пробивавшихся сквозь цветные витражи, освещали молящихся каким-то фантастическим светом. Когда проповедь кончилась, люди расходились в сосредоточенном молчании. В церкви осталось только несколько женщин. Сдержанно всхлипывая, они шептали молитвы. Вернувшись в пансион, я села писать письма домашним и Таирову, надеясь утром их отправить. Но утром меня ждала ошеломляющая новость: железнодорожное сообщение с Парижем прервано, линия занята воинскими эшелонами. В голове была одна только мысль: во что бы то ни стало добраться до Парижа. Положение было отчаянное. Денег у меня могло хватить всего на пять-шесть дней жизни в пансионе. А когда еще мне удастся выбраться домой, в Россию, одному богу известно! Что делать?! Каждый день я бегала на вокзал, расспрашивая, не пойдет ли какой-нибудь поезд на Париж. Поезда шли, но ни один не останавливался на нашей станции. Это были воинские эшелоны. А дни уходили, деньги таяли. Я была в отчаянии. Наконец, как-то утром я узнала, что из Сен-Люнера отправляют новобранцев. Быстро уложив чемодан, я побежала на станцию. Как раз подходил поезд. Я кинулась к перрону. Вход был закрыт цепочкой. К счастью, в это время подошла группа новобранцев и мне удалось проскользнуть вместе с ними. Когда поезд остановился, я кинулась к молодому офицеру, стоявшему на площадке одного из вагонов, и стала слезно умолять впустить меня, объясняя, что я иностранка, русская, и что мне необходимо попасть в Париж, чтобы выбраться на родину. Молодой человек явно сочувствовал мне, но пустить не решался. Продолжая убеждать его, я не отходила от вагона, а когда поезд тронулся, на ходу вскочила на подножку. Моя хитрость удалась. Растерявшемуся офицеру не оставалось ничего другого, как схватить меня за руку и втащить на площадку, чтобы я не попала под колеса. Мое появление в битком набитом вагоне вызвало бурный восторг солдат. Узнав, что я русская, они галантно освободили мне место на скамейке, кто-то предложил выпить по кружке пива за мое благополучное возвращение в Россию. Так, распевая с солдатами боевые песни, я въехала в Париж. Когда я вышла на вокзальную площадь, я не узнала Парижа, хотя уехала отсюда всего три недели назад. Город был затоплен бесконечным потоком демонстрантов. Я остановилась в полной растерянности. Какой-то молодой человек протянул мне руку, и я очутилась в шеренге. Разговаривая, мы пошли рядом. Он оказался чехом. Узнав, что я русская, очень посочувствовал: «Я-то пойду воевать, а вот вам будет здесь грустно». Ой, я разговорилась, вы утомились.  
ЗОРЬКИНА. Ничего такого, говорите! Если бы вы знали, сколько полезного я уже услышала.  
КООНЕН. Полезного? Например?  
ЗОРЬКИНА. Как же всё же правильно, знать иностранные языки. Продолжайте, пожалуйста. Один вопрос, а вы же говорили, что были с Александром Яковлевичем, как одна-то оказались, поругались?  
КООНЕН. Нет, Таиров вынужден был срочно вернуться в Москву по делам. А что касается того, что вы думаете, так ведь нет, тогда мы были просто друзья. И, конечно, режиссёр и актриса. Таиров же ездил не со мной, а в Англию, за материалами для нового спектакля, которым хотели открыть Камерный театр.  
ЗОРЬКИНА. «Сакунтала», что ли?  
КООНЕН. Да.  
ЗОРЬКИНА. И открыли! 12 декабря 1914 года! Ой, перебила, простите. Просто я так люблю наш театр, так люблю… просто страсть.  
КООНЕН. В тот июль мы оказались попутчиками.  
ЗОРЬКИНА. Хорошо, когда путь один на двоих, веселее. Так что там, что там с чехом-то!?  
КООНЕН. Мы шли бесконечно долго. Между тем уже надвигались сумерки, и я вдруг почувствовала невероятную усталость. Ноги еле двигались. Молодой человек заметил это и посоветовал мне подумать о ночлеге. В одном из переулков мелькнула вывеска отеля. Выйдя вместе со мной из шеренги, мой новый знакомый купил в киоске какую-то брошюрку и, написав на ней свою фамилию, сунул ее мне: «Это вам на память, ведь сегодня исторический день.» Я поблагодарила его и, собрав последние силы, побрела к отелю. Только в холле я вспомнила, что у меня в сумочке всего несколько сантимов. Меня встретила хозяйка: «Мадемуазель нужна комната?», спросила она с некоторым удивлением. Я утвердительно кивнула головой, но тут же, едва ворочая языком от усталости, рассказала о своем отчаянном положении и о том, что заплатить за номер даже за одни сутки мне нечем. Женщина улыбнулась. «Сейчас, мадемуазель, наступают тяжелые дни для всех нас - и для французов и для русских. И мы должны помогать друг другу. Вы можете спокойно прожить здесь день-другой. Гостиница все равно пуста». Горничная проводила меня в номер. Как только она вышла, я повалилась на кровать, подумав, что большего блаженства на свете быть не может. Неожиданно раздался стук в дверь. Вошла хозяйка. «Бедная мадемуазель, как вы устали! - воскликнула она. - И, наверно, целый день ничего не ели. Я пришла пригласить вас поужинать вместе с нами». Я пыталась отказаться, но милая женщина настояла на своем. И через несколько минут, спустившись вниз, мы очутились в уютной маленькой столовой, где меня очень любезно встретили муж хозяйки и два их мальчика. От запаха еды у меня закружилась голова. И мне стоило большого труда есть медленно, не показывая виду, что я, кажется, могла бы в одну минуту проглотить все, что стояло на столе. Утром, открыв глаза, я долго не могла прийти в себя. В голове была одна только мысль - война. Это заслонило все остальное. Я быстро оделась и вышла на улицу. В переулке было тихо. По привычке подумала: «Надо позавтракать». Напротив была маленькая «шоколатри». Как-то совершенно забыв, что у меня нет денег, я вошла. В комнате не было ни одного посетителя. Молоденькая официантка подошла ко мне: «Мадемуазель хочет выпить чашку шоколаду?» Я невольно улыбнулась своей оплошности. «Очень хочу выпить шоколад и съесть бриош, - сказала я, — но у меня всего-навсего несколько сантимов». И, объяснив, что я иностранка, русская, застряла в Париже без единой монеты, я направилась к выходу. Подошла хозяйка. Узнав о моем печальном положении, она пригласила меня сесть за столик и, обратившись к официантке, сказала: «Вместо того чтобы болтать, вы лучше бы угостили мадемуазель шоколадом». Человеческое внимание и доброта оказывают удивительное действие. И я вдруг почувствовала, что я не одинока, что на свете много добрых людей. Выпив шоколад и съев два бриоша, я горячо поблагодарила хозяйку и вышла на улицу. В смятении бродила я по городу. Где Таиров? Успел ли он доехать? Вдруг он застрял в Германии… Что переживают мои домашние, не зная, где я, что со мной… Война!.. Это значит, что жизнь остановилась? Театра не будет?.. И когда может окончиться война? И как я буду жить в Париже без денег? Я знала, что Маршак с семьей уехал на лето в Нормандию. Значит, помощи отсюда ждать нельзя. Прошло несколько мучительных дней. Я беспомощно слонялась по Парижу, ожидая какого-то чуда. Хозяйка отеля по-прежнему была ласкова со мной, почти насильно уводила к себе то обедать, то ужинать. Когда я отказывалась, успокаивала: «Кончится война, вы приедете в Париж, тогда сосчитаемся».  И всегда добавляла: «Лишний человек за столом не в тягость». Вот, что, Клара Феоктистовна, немедленно идёмте в Париж, в тот самый отель. Хватит рассиживаться. А заодно, надо купить туфли. Возьму деньги и – вперёд.  
ЗОРЬКИНА. Точно, здесь все тётки ходят в лодочках, а мы – в наших ботах: дысь-дысь-дысь. А ведь февраль. Вам-то, по-любому, надо, вас фотографируют, на вас люди пялятся, и вообще, вы же лицо нашей Родины, и фигура, и ножки!  
КООНЕН. Я готова. Идём.  
ЗОРЬКИНА. А как вы добирались до Москвы-то тогда?  
КООНЕН. О, это отдельная эпопея. Когда-нибудь, на старости, я напишу книгу воспоминаний. Ох, мне есть, что вспомнить, и даже кое-что рассказать.  
ЗОРЬКИНА. Но мне-то расскажете по пути?  
КООНЕН. А вы мне о себе?  
ЗОРЬКИНА. Легко, там рассказывать нечего.  
КООНЕН. Неправда, каждый человек – это роман. Или хотя бы страницы жизни.  
ЗОРЬКИНА. Тогда поболтаем. Я-то всегда готова на выход.  
КООНЕН. Тогда в Париж! (Уходит.)  
ЗОРЬКИНА. С вами хоть на край света. Да хоть за край! (Уходит.)  
  
  
Около служебного входа театра Champs Elysees. Афиша «Федры» Камерного театра, наклеенная на дверь. Неподалёку Горошек копается в мусорном ящике. Входит Расстегаев, с котомкой, изучает афишу.  
  
ГОРОШЕК. Чёртова Франция, ничего путёвого в мусорке не найдёшь.  
РАССТЕГАЕВ. Не в этом районе, могу показать золотые горки всякой дряни.  
ГОРОШЕК. Наш?  
РАССТЕГАЕВ. Вряд ли, если ты из «товарищей».  
ГОРОШЕК. А не наш, так и помалкивай, и так нервов не хватает с этим театром.  
РАССТЕГАЕВ. Из Камерного театра?  
ГОРОШЕК. Тебе-то, амёля.  
РАССТЕГАЕВ. Да так-то бы ровно. Казак?  
ГОРОШЕК. Вот анчибал, отстань.  
РАССТЕГАЕВ. Не хочешь, не признавай. А про что эта «ФедрА»-то?  
ГОРОШЕК. Офранцузился. Не ФедрА, а ФЕдра.  
РАССТЕГАЕВ. Баско рисовано.  
ГОРОШЕК. Ты бы спектакль видел, узнал бы, что есть красота. Сарынь на кичку.  
РАССТЕГАЕВ. Матерь божья, уж не Горошек ли? Сёма?  
ГОРОШЕК. Вот только давайте без провокаций, господин, просто отвянь и всё. Расстегай!? Севка! Ёлы-палы… друже!  
РАССТЕГАЕВ. Сёма, дорогой мой человече! (Обнимается с Горошком, запевает.)   
Когда мы были на войне,  
Когда мы были на войне,  
Там каждый думал о своей  
Любимой или о жене.  
ГОРОШЕК (подхватывает песню).  
И я бы тоже думать мог,  
И я бы тоже думать мог,  
Когда на трубочку глядел,  
На голубой её дымок.  
РАССТЕГАЕВ и ГОРОШЕК (поют, танцуют).  
Но я не думал ни о чём,  
Но я не думал ни о чём,  
Я только трубочку курил  
С турецким горьким табачком.  
Как ты когда-то мне лгала,  
Как ты когда-то мне лгала,  
Но сердце девичье своё  
Навек другому отдала.  
Я только верной пули жду,  
Я только верной пули жду,  
Что утолит печаль мою  
И пресечёт нашу вражду.  
Когда мы будем на войне,  
Когда мы будем на войне,  
Навстречу пулям полечу  
  
Из театра, выходит Таиров.  
  
ТАИРОВ. Товарища встретил, Семён Львович?  
ГОРОШЕК. Да больше, больше! Сосед мой детский, воевали вместе в Карпатах, били австрияков.  
РАССТЕГАЕВ. А они – нас. Как могли, так воевали. Товарищ-то товарищ, но не тот «товарищ», как там у вас. Сёмка!  
ТАИРОВ. Идейный враг? Агитирует?  
ГОРОШЕК. Да куда там! Просто поинтересовался, про что «ФедрА», а я гляжу, батюшки, Севка!  
РАССТЕГАЕВ. Не ври, я первый тебя узнал.  
ТАИРОВ. Так и сказал, с ударением на последний слог?  
РАССТЕГАЕВ. Ну, давайте, теперь вдвоём поржите. Я ж читаю французский текст, как ещё сказать, ударение у них всегда на конец слова.  
ТАИРОВ. Верно, верно. Если говорить о сюжете «Федры», то коротко его можно было бы определить так: неразделенная любовь мачехи к пасынку. Но это, конечно, очень обеднило бы его содержание. На самом деле сюжет гораздо шире и в каких-то своих частях он даже своеобразно перекликается с нашей современностью.  
РАССТЕГАЕВ. Ой, дальше не надо, мне это всё равно не нужно. Семён, надо вспрыснуть встречу, не по-людски разбегаться братьям на чужбине.  
ТАИРОВ. В целом, верное замечание. Отпроситесь у Аристархова, Семён Львович, думаю, причина уважительная.  
ГОРОШЕК. А как же чекисты?  
РАССТЕГАЕВ. Как говорится: почекают! Ой, виноват.  
ТАИРОВ. Смешно.  
РАССТЕГАЕВ. И много с вами охранников?  
ГОРОШЕК. Да двое.  
РАССТЕГАЕВ. Так пусть с нами, небось, из наших молодцы?  
ГОРОШЕК. Всё, хватит зубоскалить на эту тему, не смешно.  
ТАИРОВ. Погуляйте. Сходите куда-нибудь, посидите.  
РАССТЕГАЕВ. Сходить сходим, если Сёмку какой-то Аристархов отпустит.  
ТАИРОВ. Аристархов знает, что делать.  
РАССТЕГАЕВ. Ну, там как будет, а тут как есть. Можно же прямо сейчас, не отходя от кассы. У меня с собой есть. (Достаёт флягу.) Подлинное бургундское, я там подъедался на ферме. По пять капель, а?  
ТАИРОВ. На троих? Посреди культурной столицы мира на глазах изумлённой общественности? Отличная идея. Не откажусь. Наливайте.  
РАССТЕГАЕВ. И сыром закусим, реальным, французским! Подержи флягу, Всеволод, истукан, займись делом. (Достаёт сыр.) Только стаканов нет, если что.  
ТАИРОВ. Вино из фляги – просто сказка. Я – Александр Яковлевич.  
ГОРОШЕК. Всеволод Сергеевич.  
ТАИРОВ. А почему Семён Львович не понимает по-французски?  
ГОРОШЕК. А него предки из восемнадцатого двенадцатого года.  
РАССТЕГАЕВ. Из восемьсот пятнадцатого. Прадед с атаманом Платовым по парижским мостовым на конях гарцевал после полного облома Наполеона. Ну и прихватил трофей в виде французской прабабушки.  
ГОРОШЕК. У них в семье строго все по-французски между собой гутарили. Ну, разговаривали.  
  
Входит Церетелли.  
  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Какой замечательный завтрак. Почему не на траве? Тут рядом.  
РАССТЕГАЕВ. Ваш?  
ТАИРОВ. Наш. Звать Николаем Михайловичем.  
РАССТЕГАЕВ. Николай Михайлович, травка – это потом, отдельным номером программы, а сейчас присоединяйтесь, прошу. Встреча старых друзей.  
ТАИРОВ. Нет-нет, Николай, я тоже в гостях, это Всеволод Сергеевич с Семёном Ильичом встретились.  
РАССТЕГАЕВ. Ну, хватит болтать, погнали по кругу. Вы тут старший, судя по всему, Александр… как там…  
ГОРОШЕК. Яковлевич!  
РАССТЕГАЕВ. Вот именно. Прошу.  
ТАИРОВ. Ну, за встречу старых и новых друзей. Желаю всем доброго здоровья и счастливого возвращения домой. (Выпивает.)  
РАССТЕГАЕВ. Сырчику, сырчику берите, ломайте. Николай?  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Пожалуй. И вот, что я вам скажу.  
«Какой тяжелый, тёмный бред!  
Как эти выси мутно-лунны!  
Касаться скрипки столько лет  
И не узнать при свете струны!  
Кому ж нас надо? Кто зажёг  
Два желтых лика, два унылых...  
И вдруг почувствовал смычок,  
Что кто-то взял и кто-то слил их.  
"О, как давно! Сквозь эту тьму  
Скажи одно: ты та ли, та ли?"  
И струны ластились к нему,  
Звеня, но, ластясь, трепетали.  
"Не правда ль, больше никогда  
Мы не расстанемся? довольно?.."  
И скрипка отвечала да,  
Но сердцу скрипки было больно.  
Смычок всё понял, он затих,  
А в скрипке эхо все держалось...  
И было мукою для них,  
Что людям музыкой казалось.  
Но человек не погасил  
До утра свеч... И струны пели...  
Лишь солнце их нашло без сил  
На черном бархате постели».  
Прошу простить, репетиция. (Уходит в театр.)  
ТАИРОВ. «Смычок и струны». Стихотворение Иннокентия Анненского.  
РАССТЕГАЕВ. Круто.  
ГОРОШЕК. Ты?  
РАССТЕГАЕВ. Ты, я стихи перевариваю.  
ГОРОШЕК. За наш Камерный театр. Потому что это счастье. Потому что это Париж. И потому что это Севка Расстегаев. И да здравствуем все мы. (Выпивает.) Севка, твой черёд.  
РАССТЕГАЕВ. «Но человек не погасил  
До утра свеч... И струны пели...  
Лишь солнце их нашло без сил  
На черном бархате постели»…  
ТАИРОВ. Какая замечательная память!  
РАССТЕГАЕВ. Я ж разведчик. Могу весь стих повторить.  
ГОРОШЕК. Не надо. После Церетелли не надо.  
РАССТЕГАЕВ. Церетелли? А, видел имя на афише.  
ГОРОШЕК. Лучший мужской актёр в мире.  
РАССТЕГАЕВ. Память натренировать можно, а вот как понять стихи? Какие-то слова, сравнения, намёки. Ничего не разобрать, если разобраться, но так красиво. Молодец ваш товарищ. Здорово. Ну, за встречу.  
  
Вбегает Зорькина.  
  
ЗОРЬКИНА. Александр Яковлевич, Александр Яковлевич, беда! Алиса Георгиевна свалилась, слегла. Вся горит!  
ТАИРОВ. О, господи. Да, Семён Львович, если вашему другу захочется, пусть приходит на спектакль. Скажите, что я распорядился. Очень приятно. Простите. (Уходит.)  
ЗОРЬКИНА. Вы тут пьянствуете, что ли?  
ГОРОШЕК. Что с Коонен?  
ЗОРЬКИНА. Простыла, похоже. Жар, температура. Купила туфли-лодочки зимой.  
ГОРОШЕК. Познакомься, Сева, это моя невеста Клара. А это – Сева, мой брат.  
ЗОРЬКИНА. Ишь как. Ладно, мне в театр. Через три дня премьера «Федры»!!! Коонен уже умирает, а если сорвёт гастроли, умрёт точно.  
РАССТЕГАЕВ. Заменить, что ли, некем?  
ГОРОШЕК. Так-то бы есть, но не Федру же.  
РАССТЕГАЕВ. Далась вам всем эта Федра. Вся эмиграция только об этой наглости и трещит, мол, в Париже да при живой Бернар, или как её там.  
ЗОРЬКИНА. Будем знакомы. И хватит пить, Семён, не дома! (Убегает.)  
ГОРОШЕК. Вот как.  
РАССТЕГАЕВ. Подожди, так если там Коонен, так это был сам Таиров, что ли?  
ГОРОШЕК. Ну, да. Ты знаешь, что ли, кто это?  
РАССТЕГАЕВ. Слышал. И что, вот так запросто с нами из горла сам Таиров!? И тебя по отчеству величает?  
ГОРОШЕК. Он так ко всем обращается. Уважительно, но запросто. Кроме Церетелли, его исключительно по имени, любит очень. Насчёт выпивки, правда, я сам одурел от неожиданности. Но так-то строгий ещё какой, наши отцы-командиры отдыхают по сравнению с его требованиями дисциплины. Притом, все свободны и всё без напряжения. Сказка, не жизнь. Ладно, наговоримся, пойду, отпрошусь.  
РАССТЕГАЕВ. Я тебя на лавочке обожду, в аллее.  
ГОРОШЕК. Так просить билеты на спектакль?  
РАССТЕГАЕВ. Да нет, не надо. Хотя. Давай, два. Тут мой фермер с женой, что пригрел меня, его вино-т с сыром. Пусть прошвырнуться, а я-то не, я - пас, я правильный мужчина, театры и прочую культуру за версту обхожу. Давай, Сёма, жду. (Уходит.)  
ГОРОШЕК. Даю, брат. Даю. (Уходит в театр.)  
  
  
Гостиничный номер. Коонен лежит в кровати под одеялами. Здесь Таиров.  
  
ТАИРОВ. Порядок спектаклей пришлось изменить.  
КООНЕН. Я виновата! Прости!  
ТАИРОВ. Малыш, не надо разговаривать. Здешний ларинголог - маг и чародей, он Шаляпина лечил! Доктор запретил тебе говорить. И прекрати каяться, есть, что есть.  
КООЕЕН. Я вся в горчичной вате, мне так стыдно, я вся горю.  
ТАИРОВ. Вместо «Федры» была назначена «Жирофле-Жирофля», в которой тебя заменила Леночка Спендиарова. Она была великолепна. Превосходный приём.  
КООНЕН. Александр… не надо…  
ТАИРОВ. Как кстати, что она уже несколько раз сыграла в Москве. Нельзя весь репертуар вести одной актрисе, нельзя.  
КООНЕН. Такого не повториться!  
ТАИРОВ. Молчать. Молчать. Молчать. Эберто устраивает для труппы ужин, на котором я не могу не быть. Оставляю тебя. Какие красивые, однако, туфли ты купила. Любуюсь, глаз не отвести.  
  
Стук в дверь, входит Церетелли.  
  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Я прилетел.  
КООНЕН. Сокол.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Кар-кар.  
ТАИРОВ. Дети, не ссорьтесь. Николай вызвался прийти и посидеть с тобой до моего возвращения. Пришлю тебе тарты с вишнями, а Николаю бутылку вина. Не позволяй Алисе разговаривать и вставать с постели, Николай. А ты лежи спокойно, не плачь и, главное, не разговаривай. Прощай, малыш. Помни о «Федре». (Уходит.)  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Доктор запретил тебе говорить. Здешний ларинголог - маг и чародей, он Шаляпина лечил! Вместо «Федры» была назначена «Жирофле-Жирофля», в которой тебя заменила Леночка Спендиарова. Как кстати, что она уже несколько раз сыграла в Москве. Она была великолепна. Превосходный приём! Парижские театралы в восторге! Посмотрим завтра в газетах, что напишут. Но, похоже, мы взяли их, Париж пал. Я бросил считать, сколько раз нас вызывали. И ведь так правильно, без ошибок, скандировали мою фамилию. Репетировали, что ли. Какие чудные «лодочки». Те самые туфли, что тебя подкосили?  
КООНЕН. Церетелли, будь ты проклят, заткнись! Пошёл вон!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Эмигрантский союз русских писателей прислал нам приглашение на прием в честь Камерного театра. Приглашение подписано не кем-нибудь, Павлом Николаевичем Милюковым. Лидер кадетов, бывший министр иностранных дел…  
КООНЕН. Коля, прости меня, ради бога.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Таиров не знал, как поступить, это могло оказаться провокацией. Он послал молнию Луначарскому. Ответ пришел незамедлительно: «Приглашение принимайте, все остальное зависит от вашего такта». Ты в курсе?  
КООНЕН. Церетелли, родненький, я не хотела.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Молчи. Пожалуйста. Помни о «Федре».  
КООНЕН. Коля, мне совестно.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Твоё православное проклятие в отношении правоверного мусульманина да ещё венценосных кровей не стоит ничего, отскочило.  
КООНЕН. Но ты побледнел. Тебя ударило, я вижу!  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Сам виноват. Спровоцировал.  
КООНЕН. Да.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да? Да. Да-да. Да. И я пойду. Приглашу Клару Феоктистовну, она просилась. Она здесь, в отеле.  
КООНЕН. Николай.  
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да брось, Алиса. Рано или поздно мне придётся уйти из театра. Не уходить же сегодня. Не говори! Не разговаривай. Будет время сказать. У нас с тобой конфликт давний. Странно, что ты ревнуешь к первенству актёра противоположного пола. Я же не претендую на твои роли, твой успех – он твой. Ах, да, - успех. Аплодисменты зрительного зала. Овации. Их должны иметь только двое: Камерный театр и Алиса Коонен. Остальным – что останется. И не на авансцене, а на десять шагов позади. Лучше у задника. И совсем отлично, если за кулисами. Прости, что родился актёром и вырос под стать тебе. Так сложилось: меня тоже натаскивали в Художественном, а обучал, не поверишь, тоже Таиров. Вернёмся в Москву, доведу сезон и уйду. А за проклятие не волнуйся, не пропаду. Я буду востребован. Просто театра в других театрах нет. Ну, разве что немного. Но Камерный театр твой. Я знаю. Нет, неверно. Театр принадлежит Таирову, потому что он и есть театр. А тебе принадлежат овации. В основном. Частично, конечно, и сам театр, но всего лишь подмостки. Подиум. Не больше. Но и не меньше. И мне там места нет. Вернее, в месте отказано. Самое обидное, что Таиров примет твою сторону. Он не станет меня отговаривать от ухода. Пусть не справедливо, пусть неразумно, но будет так. Прощай, Алиса. Выздоравливай. Помни о «Федре». Искренне ваш Николай Церетелли. (Уходит.)  
КООНЕН. Ерунда, не посмеет. А я-то, я-то… я-то! Молчи. Выздоравливай, пожалуйста, выздоравливай… (Произносит текст Федры.)  
…Он другую избрал! Любит он Арикию!..  
…Любит Ипполит; в том не сомненья,  
Он, этот непреклонный враг любви,  
Кого и просьбы женщин оскорбляли,  
Он, этот тигр, к кому едва я смела  
Приблизиться, - он взят, он приручён,  
Он побеждён, он раб для Арикии…  
…Но буду всё ж любить!..  
…Кого? К кому во мне пылает кровь?  
Помыслю, дрожь по членам пробегает.  
Я перешла пределы преступлений,  
Дышу прелюбодейством и обманом;  
Запятнанные руки в жажде мести,  
В крови невинной я хочу омыть!  
Презренная! И я живу, и видеть  
Я смею солнца благородный лик!  
Своим отцом его считала мать.  
Олимп и небо полны наших предков,  
Куда ж мне скрыться? Убегу во тьму,  
В подземный ад! Но там ведь мой отец.  
Судьба, как говорят, ему вручила  
Весы – судить по смерти всех людей.  
Как Миноса тень царственная вздрогнет,  
Когда пред ним предстанет дочь его,  
Не смея дать отчёт в своих проступках,  
Неведомых, быть может, и в аду.  
Что скажешь ты, отец, при этом виде?  
Вот-вот из рук ты уронил весы,  
Неслыханного наказанья ищешь,  
Ты дочери готов стать палачом…  
Отец, прости! Разят нас боги властно.  
Признай их суд в моей судьбе несчастной!  
Увы! Из ужаса грехов моих  
Я не вкусила счастья ни на миг;  
Гонима до конца, ломая руки,  
Прощаюсь с жизнью я в предельной муке.  
  
  
Парижская квартира. Бертран примеряет одежду для выхода в театр. Входит Арабель.  
  
АРАБЕЛЬ. Хорош.  
БЕРТРАН. Ещё не поздно, Арабель, идём со мной.  
АРАБЕЛЬ. Хватит, Жюль. Я сказала, что не гожусь для театра, даже на галёрке. Нечего мне там делать. И вам, по уму, не стоило бы.  
  
Входит Расстегаев, одетый в театр.  
  
РАССТЕГАЕВ. Ну, как?  
АРАБЕЛЬ. Хорош. Оба хороши. Как быки под седлом. Ничего, зато костюмы не ношенные и то хлеб. Пришла телефонограмма от Герена. Встреча сегодня в полночь, в Булонском лесу.  
РАССТЕГАЕВ. Отлично! Сегодня меня этот театр так распсихует, что я буду во всеоружии.  
БЕРТРАН. Сева, успокойся.  
АРАБЕЛЬ. Сегодня стрелять не надо. Ты понимаешь?  
РАССТЕГАЕВ. Конечно.  
БЕРТРАН. Арабель сказала, не дёргайся и не суйся, куда не следует.  
РАССТЕГАЕВ. Да что вы, как с пацаном, я ветеран войны.  
АРАБЕЛЬ. Ты не в форме, казак.  
РАССТЕГАЕВ. Сержант Бертран, угомоните жену!  
БЕРТРАН. Сева, чтоб ты знал. Арабель такой же военный ветеран, как и мы. И по званию она такой же сержант.  
РАССТЕГАЕВ. Да ну!? Чего раньше не сказал. Виноват.  
БЕРТРАН. Она служила в разведке, потом в штабе, аналитиком. Так что, не нам её поучать. Ты действительно на взводе, это нехорошо.  
АРАБЕЛЬ. Встреча с братом выбила его из колеи.  
РАССТЕГАЕВ. Ну, вот что, господа сержанты! Никто и ничто из колеи меня не выбивало. Казака из седла, даже если он на быке, не выбить ничем. И не вздумайте меня задвигать, я, только я и никто другой должен пристрелить эту большевистскую сволочь. Потому что это наше с ним личное дело, гражданская война в России продолжается, и не кончится до тех пор, покуда мы не перестреляем всех краснопузых! Ну, или они нас. Тут как пойдёт. Но стреляться мы будем стопудово. Мы! А не французы или какие прочие нации. Да, я повстречал брата и мне жутко захотелось домой, как никогда, хоть вой. Но лучше я туда пришлю трофей. Жюль, Арабель, зарубите себе на переносице: я и только я должен убить Таирова.  И мне плевать, зачем и кому это нужно. Главное, что это нужно мне. Я – на улице, сержант, жду. (Уходит.)  
АРАБЕЛЬ. Он сделает это.  
БЕРТРАН. Да я и не сомневался. И всё же, зачем и кому это нужно?  
АРАБЕЛЬ. Поймём завтра, после твоей беседы с Гереном. Многое зависит от даты. Если акция будет назначена в ближайшие дни, значит, заказчик здесь. Если же ближе к концу гастроли, значит, собака зарыта в Германии.  
БЕРТРАН. Ого!  
АРАБЕЛЬ. В Германии обстановка ужасная, всеобщая депрессия. Успех советского искусства может привести к непредсказуемым последствиям. Не забывай, это первый официальный выезд советского искусства после большевистского переворота. Германская элита их ждёт. И так-то ждали бы, но успех Таирова в Париже имеет столь серьёзный резонанс, что в их газетах уже началась ожесточённая перепалка. Странно, что до сих пор здесь театру не устроили провал. Клакеры, думаю, и задарма зашикали бы Таирова, а уж за деньги-то и подавно. Неужели Таиров так хорош?  
БЕРТРАН. Сегодня узнаем. Однако, как тебе в ум пришла германская тема?  
АРАБЕЛЬ. Сам же говорил, что у Герена была германская самописка.  
БЕРТРАН. Да… И что… Н-да. Ну, тебе лучше знать. Охотнику плевать, для кого дичь отстреливать, если не для себя, лишь бы платили.  
АРАБЕЛЬ. Встретимся после спектакля, в сквере, около театра. Провожу до места встречи. Контролируй Севу.  
БЕРТРАН. Отличный мужчина. Надёжный. Жаль терять.  
АРАБЕЛЬ. Не думай ни о чём, просто расслабься. После разговора с Гереном расставим все знаки препинания и поставим точку в этой истории. Помни о ферме и деньгах. И будущих детей не забывай. Я хочу.  
БЕРТРАН. Вот и славно. Ну, я готов?  
АРАБЕЛЬ. Готов.  
БЕРТРАН. Пошёл?  
АРАБЕЛЬ. Пошёл.  
БЕРТРАН. Пока. (Уходит.)  
АРАБЕЛЬ. Счастливо.  
  
  
Вечер. Театр Champs Elysees. У выхода на сцену ходит Таиров. Входит Зорькина.  
  
ЗОРЬКИНА. Александр Яковлевич, Алиса Георгиевна идёт. Она такая волнительная, просто с ума сойти.  
ТАИРОВ. Ничего, ничего, Клара Феоктистовна, всё будет хорошо.  
ЗОРЬКИНА. Не, ну врач-то у них реально волшебный, Алиса Георгиевна и ходит сама, и не шмыгает даже, а голос как на репетициях звучал! А? О! Просто чудо! Я, говорит, кажется, никогда ни перед одной премьерой за всю мою жизнь, говорит, не волновалась так, как перед премьерой «Федры» в театре Champs Elysees. Набегают, говорит, тревожные мысли: в Москве, мол, перед премьерой было несколько генеральных репетиций и она играла уже разогретая. А здесь всего одна, при пустом зале, да еще после того, как проболела. Зал, говорит, втрое больше нашего, какая будет акустика, когда его наполнит публика, неизвестно. Вспомнила и местную Сару Бернар. А ещё, говорит, думается, о том, как избалован Париж знаменитыми гастролерами со всех концов мира.  
ТАИРОВ. Все эти мысли не дают покоя и мне.  
ЗОРЬКИНА. Бросьте, у нас лучший театр в мире, самые грандиозные актёры во всём свете, и единственный на планете грамотный режиссёр. В смысле, настоящий. Не надо смеяться, знаю, что говорю. Уж нам-то, москвичам, есть, с кем сравнивать, а мне и подавно. Александр Яковлевич, извините, правда, что французы готовят обструкцию спектаклю?  
ТАИРОВ. Рассказали. Да, готовят. Но только не французы вообще, а так называемые «королевские стрелки».  
ЗОРЬКИНА. А, ясно. А мне сказали, что клакеры.  
ТАИРОВ. Ну, это одно и то же.  
ЗОРЬКИНА. Ох, ёшкин свет, да вас ведь самого мантулит!  
ТАИРОВ. Ну, да, я же человек, волнуюсь.  
ЗОРЬКИНА. Вы не человек, вы больше. Так что успокойтесь. Эх, если бы не мой Горошек, я вас сейчас сгребла бы да так согрела, что ох боже ж ты мой. Сама заодно тоже.  
ТАИРОВ. Такая вы замечательная, товарищ Зорькина.  
ЗОРЬКИНА. А чего эти злодеи на нас взъелись? До этого же было нормально.  
ТАИРОВ. Не столько на нас, сколько на нашу «Федру».  
ЗОРЬКИНА. Так Алиса Георгиевна же не виновата, она просто написала ихней Саре Бернар, мол, всё путём, предупредила, а та, возьми, и на другой день, скончайся.  
ТАИРОВ. Ох, Клара Феоктистовна, конечно, дело не в письме, это всё мистика. Я вас умоляю, обождите в сторонке, хорошо?  
ЗОРЬКИНА. Точно! Я же мешаюсь. Если что, только шепните, я здесь, рядом. (Уходит.)  
ТАИРОВ. Вам шепни.  
  
Входит Коонен, в костюме Федры.  
  
ТАИРОВ. Солнышко, как?  
КООНЕН. Я готова.  
ТАИРОВ. Пойду, дам команду на начало.  
КООНЕН. Когда обещали скандал?  
ТАИРОВ. Сразу по открытии занавеса.  
КООНЕН. Бедные Церетелли с Аркадиной.  
ТАИРОВ. Пойду, пожму им руки.  
КООНЕН. Саша, дверь на сцену не закрывай, хочу слышать начало.  
ТАИРОВ (распахнув дверь, шёпотом, в кулису). Занавес пошёл! (Уходит.)  
КООНЕН. Впервые на французской сцене текст Расина звучит по-русски. Бедная, бедная Сара Бернар. Началось!  
  
Аплодисменты. Вбегает Зорькина.  
  
ЗОРЬКИНА. Чего? Чего там? О, хлопают.  
КООНЕН. Исчезни.  
ЗОРЬКИНА. Ага. (Уходит.)  
  
Входит Таиров.  
  
ТАИРОВ. Слышишь? Нас любят. Тебя, Федра моя, ждут. Руки. Сожми руки. Ни пера ни пуха.  
КООНЕН. С Богом. (Уходит.)  
  
Овации.  
  
ТАИРОВ. Когда театр истинный, освистать его никто не смеет. Просто не смеет и – всё. Потому что театр. Потому что истина.  
  
  
Поздний вечер. Сквер у театра Champs Elysees. На скамье сидит Арабель. Входят Бертран и Расстегаев.  
  
АРАБЕЛЬ. Ну, что? Как? Эй, ребята, что за молчок?  
РАССТЕГАЕВ. Я всё сказал. (Уходит.)  
АРАБЕЛЬ. Жюль! Бог мой, ты плачешь?  
  
Входит Расстегаев.  
  
РАССТЕГАЕВ. Давайте так. Кто-то из вас выстрелит. Потом – меня. Пусть грешат на меня. И вы работу исполните, и мне уже всё равно. Я так, как до сих пор, всё равно дальше жить не хочу.  
АРАБЕЛЬ. Что случилось!?  
РАССТЕГАЕВ. Да этот… спектакль. (Уходит.)  
БЕРТРАН. Арабель. Я тоже не смею.  
АРАБЕЛЬ. Что?  
БЕРТРАН. Такая красота… Боже ж ты мой, жизнь прекрасна, а я… Он сказал, что не посмеет поднять руку на Таирова. Будь я проклят, но я тоже! (Уходит.)  
АРАБЕЛЬ. Да что ж такое творится на свете. Жюль! Постой, Жюль! (Уходит.)  
  
По аллее проходят Зорькина и Горошек.  
  
ЗОРЬКИНА. Сил никаких, Семён. Пойдём, посидим где-то. На речку, а?  
ГОРОШЕК. Там ночью промёрзнем. Может, в кабачок?  
ЗОРЬКИНА. Не хватает в мире гармонии, тепло только с выпивкой.  
ГОРОШЕК. А что там, насчёт скандала на спектакле? Мы все ждём обструкцию, как обещали, а там всё не так!  
ЗОРЬКИНА. Жан Кокто Александру Яковлевичу нашему объяснил. Я, говорит, спрашиваю одного из молодчиков, почему они не устроили скандала. А тот ответил: «Мы не посмели. Это было слишком красиво!»  
ГОРОШЕК. Ишь, проняло. У нас в театре всегда так… Мы-то привыкли. Что тут скажешь, одно слово: Таиров.  
  
  
Булонский лес. Ночь. На поваленном дереве сидит Герен. Входит Бертран.  
  
ГЕРЕН. Жюль, я здесь. Присаживайся. Мне показалось или ты при параде?  
БЕРТРАН. Вот, здесь расписаны три варианта исполнения. При любом раскладе, на месте оставляем Севу.  
ГЕРЕН. Сокола?  
БЕРТРАН. Да. Со сроком определился?  
ГЕРЕН. Да. Перед последним спектаклем. Лучше всего, чтоб зритель узнал о смерти Таирова перед началом спектакля. Я тоже там хочу быть. Думаю, будет потрясающая атмосфера. Актёры будут особенно в ударе.  
БЕРТРАН. Да, я при параде. Был сегодня на «Федре».  
ГЕРЕН. О, чёрт побери! Как тебя туда занесло!?  
БЕРТРАН. Не ори.  
ГЕРЕН. Мы в лесу!  
БЕРТРАН. Просто не ори.  
ГЕРЕН. И что ты решил? Пойдёшь на дело?  
БЕРТРАН. Выходит, заказчик кто-то из германцев?  
ГЕРЕН. Почему ты так подумал?  
БЕРТРАН. Складывается так, что кому-то хочется сорвать гастроли Таировского театра в Германии?  
ГЕРЕН. Ты смешной, фермер. Неужели какой-то театрик в состоянии повлиять на планы серьёзных людей? Ты так думаешь?  
БЕРТРАН. Теперь да.  
ГЕРЕН. Ну, такого просчитать я никак не мог! Чтоб сержант Бертран пошёл в театр!  
БЕРТРАН. У тебя немецкая самописка.  
ГЕРЕН. Чёрт бы побрал деревенщину, мыслящего себя Наполеоном.  
  
К Герену подкрадывается Арабель, приставляет пистолет к спине.  
  
АРАБЕЛЬ. Не двигаться. Жюль, вяжи!  
БЕРТРАН. Да. (Связывает Герена.)  
ГЕРЕН. Ох ты как… Не ожидал.  
АРАБЕЛЬ. Кто заказал Таирова?  
ГЕРЕН. Зачем вам?  
АРАБЕЛЬ. Интересно.  
ГЕРЕН. Я так понимаю, что меня вы уже не отпустите.  
АРАБЕЛЬ. Ответь на вопрос, капитан, пожалуйста, или будет очень больно.  
ГЕРЕН. Да, женщины–палачи – это очень больно, знаю. Отвечу. Но сначала ты скажи: была на спектакле?  
АРАБЕЛЬ. Нет.  
ГЕРЕН. Значит, шансов у меня нет. Заказчик – я. Да-да, я сам. Тоже, как Бертран, попал на спектакль. Был как-то в Москве. На задании. Чтобы скоротать время, пошёл в самый знаменитый театр. И попал. Они давали «Адриенну Лекуврер». Наш материал, французский. Услышал монолог Федры. Адриена Лекуврер – это наша актриса, историческая личность, и Таиров вставил монолог Федры. Играла та же Коонен. Могучая актриса. Великая. Я уж не говорю о спектакле вообще. Я не смог выполнить задание. Не посмел убить человека. С тех пор скрываюсь. И тут вдруг узнаю, что Таиров привозит «Федру». Самую, что ни на есть. Не отдельный монолог. И так мне стало горько за себя, за нас… за всё человечество. Да-да, за всё. Мы себе проживаем, как можем, служим, унижаемся, вкалываем, совращаем, предаём – ну, дальше по списку, сами продолжите. И тут вдруг Таиров со своим театром. И ты понимаешь, что жить надо иначе. Не так, как тебе удобно, а так, как велит красота. А в красоту, как вы понимаете, не вписывается ни унижение, ни подчинение, ни бессмыслица. Враньё не входит в понятие красоты, оно не смеет там находиться. Дальше вы знаете. Жюль, ты меня понимаешь?  
БЕРТРАН. Да, господин капитан. Казак отказался стрелять в Таирова.  
ГЕРЕН. Тоже видел «Федру»?  
БЕРТРАН. Да.  
ГЕРЕН. А ты? Ты будешь стрелять?  
БЕРТРАН. Я постараюсь. Сегодня точно нет, а через несколько дней приведу себя в порядок, войду в форму.  
ГЕРЕН. Тогда зачем меня связывать?  
АРАБЕЛЬ. Иначе не поговорили бы откровенно. Жюль, проводишь его?  
БЕРТРАН. Нет.  
АРАБЕЛЬ. Тогда сама. Вперёд, Герен, вперёд.  
ГЕРЕН. Жаль, я так и не увижу знаменитой Федры. (Уходит под конвоем Арабель.)  
БЕРТРАН. «Я к нему пылала грешной страстью. Боги разожгли то пламя. Остальное свершено Эноной». Или это: «Все клянут! Хоть каплю сожаленья!.. Смерть, скорей! Кончай мои мученья!»  
  
  
Москва. Лето. Кремль. По коридору идёт Литвинов. Навстречу – Дзержинский.  
  
ЛИТВИНОВ. Добрый день, товарищ Дзержинский.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Сегодня на заседании совнаркома товарищ Чичерин будет? Здравствуйте.  
ЛИТВИНОВ. Нет, он в отъезде, буду я.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Значит, Максим Максимович, мне с вами надо оговорить ряд вопросов, включая списки привлечённых к ответственности граждан иностранных держав.  
ЛИТВИНОВ. Буду признателен, Феликс Эдмундович. Иду за путёвками в оздоровительный детский лагерь. В котором часу встретимся и где?  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Давайте здесь, в Кремле, на нейтральной территории. Скажем, в двадцать-тридцать.  
ЛИТВИНОВ. Договорились.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. А что там с вашими любимцами, Таировцами? Я знаете, почему вспомнил. Вчера знакомился с протоколами допросов некоторых известных лиц. Ну, и речь зашла об алиби главного подозреваемого. Фигурант сослался на пребывание в интересующее следствие время в московском государственном Академическом Камерном театре. Следователь озадачен, как в Камерном? Разве у нас есть тюремный театр. Извините, что я всё о своём. Как говорится, у кого, о чём болит, тот о том и говорит. В газетах тишина. Уехали зимой, уже лето. Они хотя бы вернулись?  
ЛИТВИНОВ. Приедут только в сентябре. Уверен, в полном составе. Тишина в наших газетах, но не за рубежом. Количество газетных и журнальных статей просто ошеломляет. Публикации не только в Париже и в Германии, где Таировцы гастролируют, но в Англии, Америке, Чехословакии, Венгрии, Польше, Италии, Испании, Австрии, Турции. Подсчитано, что на сегодняшний день уже появилось пятьсот семьдесят статей на разных языках.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Так почему же они ещё не в Москве?  
ЛИТВИНОВ. Гастроли в Германии пролонгированы до семи месяцев. Люди хотят просто видеть, специалисты получать пищу для ума. Они исколесили всю страну вдоль и поперёк, с возвращениями в одни и те же города. Немецкая критика утверждает, что Камерный театр оказал большое влияние на работы передовых немецких режиссеров. Одна из крупных газет Германии пишет, что немецкий театр прикреплен к раскрепощенному театру Таирова. А господин директор государственных театров Германии Гартунг пишет: «Гастроли Таирова показывают, какое плодотворное влияние может оказать на нашу страну такая передовая художественная сила, какой является Камерный театр. Немецкий актер впервые почувствовал с полной убедительностью, какую великую ценность представляет из себя истинно творческий коллектив. Здесь мы впервые увидели те великие достижения, о которых могли лишь мечтать». Нам, в наркомате иностранных дел, более всего нравится цитата из «Берлинер фольксцайтунг»: «Как Чичерин и его штаб вызвали всеобщее удивление, когда они в прекрасно сидящих фраках вошли в зал заседания в Генуе, так ошарашило нас искусство режиссера Таирова своим мастерством, виртуозным владением сценой». Известный критик Иоганн Матейка пишет, что в Берлине, Кёнигсберге и многих других городах читаются доклады, происходят дебаты о методе Таирова, что гастроли занимают всю прессу, которая внимательно следит за дальнейшей жизнью Камерного театра, что все новаторские театры и спектакли берлинской «Truppe» или мюнхенской «Kammerspiele» идут под знаком Камерного театра и его принципов, что Камерный театр пробил брешь в китайской стене буржуазных предрассудков, и восточные «варвары» победоносно вступили через эту брешь во владения «цивилизованного Запада». Выдающийся немецкий театральный деятель Леопольд Йеснер пишет: «Вы должны знать, что десять лет работы Камерного театра являются достижением не только русского, но и интернационального театра». А Херварт Вальден начинает статью в газете словами: «Надо трубить в трубы. Московский Камерный театр — единственный театр Европы».  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Максим Максимович, а путёвки в оздоровительный летний лагерь именные или просто в очередь?  
ЛИТВИНОВ. Простите! Заговорился. Ну, и не менее важный всего лишь предварительный итог в том, что под воздействием гастролей Таировского театра возник реальный и деятельный интерес к торговым и более глубоким экономическим и культурным связям на межгосударственном уровне.  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Надо же. Что ж, отлично. Видимо, хороший театр.  
ЛИТВИНОВ. Вот вернутся, обязательно сходите. Получите колоссальное впечатление!  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Нет уж, благодарю. Я не повторю ошибки киллера.  
ЛИТВИНОВ. Киллера…  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. На Таирова планировалось покушение ещё в Париже. Но исполнителя или даже исполнителей угораздило пойти на спектакль.  
ЛИТВИНОВ. И что!  
ДЗЕРЖИНСКИЙ. И ничего. Таиров жив же, вы говорите.  
ЛИТВИНОВ. Феликс Эдмундович, простите, я в шоке. Но кому это понадобилось!  
 ДЗЕРЖИНСКИЙ. Радует, что сотрудники ОГПУ и добровольные помощники вовремя распознали опасность и готовы были в любую секунду предотвратить готовившееся гнусное преступление против гражданина РСФСР. До встречи в двадцать-тридцать, товарищ Литвинов. У нас много дел. Много. (Уходит.)  
ЛИТВИНОВ. В каком прекрасном и яростном мире мы живём. И ведь живём.  
  
  
Осень. Тверской бульвар напротив Камерного театра. На скамье сидит Луначарский. От театра спешит Таиров.  
  
ТАИРОВ. К нам?  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Нет, Саша, просто дышу осенью Тверского, обожаю. Остальная жизнь много дальше от Кремля.  
ТАИРОВ. Моё любимое место. И тихо, и фасад Камерного напротив.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. «Показать советский театр в странах, где нас считают варварами, и в результате завоевать публику — это большая победа. Я от души поздравляю вас — это победа не только вашего искусства, но в вашего личного такта. Очень важно, что первый выезд советского театра за границу оказался таким триумфальным».  
ТАИРОВ. Литвинов нас любит.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Товарищ Дзержинский напомнил, что в ноябре исполняется 10 лет твоей режиссёрской деятельности.  
ТАИРОВ. Железный Феликс!? Ничего себе.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Будем торжественно отмечать.  
ТАИРОВ. Умеете вы, товарищи наркомы, ошарашить. Это от «Покрывала Пьеретты» отсчёт. Вообще-то стаж у меня намного больше.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Думаю, имеется ввиду непрерывный стаж. А в следующем году десять лет Камерному театру. Можно сказать, завершится первый акт замечательной театральной пьесы.  
ТАИРОВ. С непредсказуемым финалом.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Что ж, так всегда, иначе не интересно. Как ощущения в ранге лидера мирового театра?  
ТАИРОВ. Всё бы тебе иронизировать.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Я по-взрослому, Александр.  
ТАИРОВ. Да нормально. Надо осмотреться по приезду, вникнуть в московские реалии. И работать.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Чем порадуешь в новом сезоне?  
ТАИРОВ. Точно не могу ответить. Думаю о Честертоне. «Человек, который был Четвергом». А весной, скорее всего, Островский. «Гроза».  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Ого! Ты покруче наркомов удивляешь. Трагедия Федры, оперетта «Жирофля-Жирофля» и наша Катерина. Сильно. Что там в Баварии произошло, за что вас выслали?  
ТАИРОВ. В Мюнхене мы имели огромный успех, блестящую прессу и по просьбе дирекции должны были пролонгировать свои спектакли еще на две недели. И вдруг получаем предписание от местных властей в двадцать четыре часа покинуть пределы города. В это же время появилась заметка в одной из реакционных газет: «Над Мюнхеном развевается большевистский флаг!» Эта статья и предписание о выезде вызвали гневное негодование среди населения Мюнхена и всей немецкой прессы, особенно в Берлине. Выражая сочувствие, одна из газет писала, что Камерный театр может гордиться тем, что вызвал к себе такую ненависть реакционеров. Самым неожиданным образом выразили нам свою симпатию мюнхенские железнодорожники. На вокзал мы приехали под эскортом полиции. Но когда наш администратор стал разыскивать заказанный им вагон третьего класса, его не оказалось. Взволнованный, он обратился к начальнику станции. «Ваш вагон приготовлен, - сказал начальник и повел его к вагону «микст» первого и второго класса с надписью на окнах «reserviert». - Это единственно возможный для нас знак выражения протеста против вашей высылки», улыбаясь, сказал начальник станции. Мы были очень тронуты и, поблагодарив, с удовольствием уселись в мягкие кресла, так как, спешно готовясь в дорогу, всю ночь провели без сна.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. В Альпах-то побывал?  
ТАИРОВ. О, да! Поднимались в горы. Да и в самом Мюнхене восхитила необыкновенной красоты молочного цвета река Изар и удивительные окрестности.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Прослышал, ты отпустил Церетелли? По мне так это просто невозможная вещь. Николай – грандиозный актёр, плоть от плоти Камерного театра.  
ТАИРОВ. Я совершил роковую ошибку.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Так давай, вернём!  
ТАИРОВ. Не когда подписывал заявление Николая об уходу. Когда поставил репертуар в зависимость от одной актрисы.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Не смел заговаривать об этом, но это так.  
ТАИРОВ. Видишь ли, Толя, так да не так. Момент, когда можно было пойти по заведённому театральному пути, на основе мер и противовесов, упущен. В четырнадцатом году мы открывались тремя спектаклями, два из которых ставил не я. И что? Вот именно. Коонен не просто замечательная актриса, она ещё и соратник. И работяга, каких театральный мир, возможно, не знал. От пантомимы до трагедии, от травести до героини – ей не просто всё подвластно, но она творит искусство. Вначале театру нужен был коммерческий успех, потом эмоциональный. Коонен его гарантировала.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Прежде всего – ты.  
ТАИРОВ. В театре главный человек – актёр. Каков ни был бы режиссёр, художник, композитор. Вспомни гастролёров, хоть братьев Адельгейм, которым никто не был нужен, кроме них самих. А главное, что и зрителям то же. Так вот, до «Федры» я ещё мог исправить ошибку. Это если рассуждать расчётливо и постфактум. Но с «Федрою» Камерный театр вышел на такой уровень театрального искусства, что держать его и, что важнее, повышать, может лишь одна Коонен. После Ермоловой, она одна осталась, во всей России, огромная трагическая актриса.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. И в Европе.  
ТАИРОВ. Возможно.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. В России за всю историю трагических актрис всего и было-то три-четыре.  
ТАИРОВ. Амэн. Да, Церетелли тоже может. Но пришлось выбирать. Для театра важны оба, но для зрителя важнее Коонен. Моя главная забота теперь оберегать её, этот совершенный сосуд искусства. Ну, оставил бы Николая? Сосуд мог бы треснуть. Они сами поставили меня перед выбором. И не знали, что выбора у меня нет.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Ты плакал, когда увольнял…  
ТАИРОВ. Никто не видел!  
ЛУНАЧАРСКИЙ. А я и не говорю, что кто-то видел, я просто предположил. Пора мне, Саша, грехи наши тяжкие, труды наши праведные. Не припомню, чтобы на Западе часто мелькало название «Камерный театр», но сплошь и рядом «Таировский театр». Твой театр, тебе творить. Как жаль Николая, так жаль.  
  
Входит Коонен.  
  
КООНЕН. Вот вы где! Анатоль, идём кушать чай.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Я не просто рад видеть тебя, Алиса, я просто счастлив, что ты есть. Благодарю, вынужден откланяться. Но приглашение на чай припомню, я чрезвычайно добропамятный человек. До свидания, богиня. Прощай, Саша.  
ТАИРОВ. Рад встрече.  
ЛУНАЧАРСКИЙ. Нет, не так. До встречи, Таиров-театр. (Уходит.)  
КООНЕН. Ты обещал три дня самоизоляции от внешнего мира.  
ТАИРОВ. Сколько же мы с тобой не виделись?  
КООНЕН. А когда мы сели в поезд до Парижа… с 21 февраля.  
ТАИРОВ. Одна тысяча двадцать третьего года.  
КООНЕН. Семь месяцев.  
ТАИРОВ. Ну, здравствуй.  
КООНЕН. Здравствуй, малыш. Здравствуй. (Уходит с Таировым.)  
  
  
Там же. 1949 год. Июнь. День. Навстречу друг другу идут Расстегаев и Горошек.  
  
ГОРОШЕК. Хо-хо, Всеволод Сергеевич!  
РАССТЕГАЕВ. Семён! (Обнимается с Горошеком.)  
ГОРОШЕК. А ну, закежь?  
РАССТЕГАЕВ. Да ладно тебе, люди же, неловко.  
ГОРОШЕК. Стесняешься!? Одурел ты, брат!? Ну, расстегнись же, Расстегаев!  
РАССТЕГАЕВ. Не ори ты, смущаешь ведь. (Расстёгивает плащ, на пиджаке – Звезда «Героя», рядом с орденом «Почётного Легиона».) Вот.  
ГОРОШЕК. Настоящий Герой! Нашего Советского Союза! С ума сойти. А что это за орден?  
РАССТЕГАЕВ. Орден офицера Почётного Легиона.  
ГОРОШЕК. Две высших награды двух государств! Сам Сталин вручал?  
РАССТЕГАЕВ. Нет же, это было бы слишком круто. Как положено, вручал Председатель Президиума Верховного Совета СССР, запамятовал как звать…  
ГОРОШЕК. Шверник! Николай Михайлович Шверник.  
РАССТЕГАЕВ. Пока при памяти, сделаешь билет в театр?  
ГОРОШЕК. В какой?  
РАССТЕГАЕВ. Как в какой! В Камерный, конечно, к Таирову!  
ГОРОШЕК. Закрыли театр.  
РАССТЕГАЕВ. Ах, беда, неужели у вас так рано закрывают сезон. Могли бы сделать исключение, это же великий театр, говорят, все, кто едет к вам, заказывают билеты в Камерный театр…  
ГОРОШЕК. Не сезон, Сева, закрыли не сезон. Совсем закрыли.  
РАССТЕГАЕВ. Не понимаю.  
ГОРОШЕК. Расскажешь моим пацанам про ваше «Сопротивление»? Они ж тебя как бога ждут. От чёрт, никак не изжить старорежимные привычки с этим театром. Что ж ты там такого накуролесил, что наши бывшему беляку высшее звание присвоили?  
РАССТЕГАЕВ. Как закрыли?  
ГОРОШЕК. Так расскажешь про свои подвиги под борщец с самогоночкой?  
РАССТЕГАЕВ. Да не было никаких подвигов, Семён, нормальная военная работа, сам знаешь, что за штука. Про ребят расскажу. Я ведь и Гитлера живьём видел.  
ГОРОШЕК. И не убил!?  
РАССТЕГАЕВ. Такое горе, я так мечтал увидеть Коонен…  
ГОРОШЕК. Обожди с полчасика, мне тут надо одно дело сделать, по работе. Приказ, куда деваться.  
РАССТЕГАЕВ. И давно? Театр давно закрыли?  
ГОРОШЕК. На днях. Двадцать девятого мая сорок девятого года в последний раз закрыли занавес нашего Камерного театра. Давали «Адриенну Лекуврер». Без Франции, как видишь, никуда, даже на тот свет.  
РАССТЕГАЕВ. Как так…  
ГОРОШЕК. Обыкновенное дело. Как врага народа. В расход.  
РАССТЕГАЕВ. Не понимаю, зачем вам убивать Таирова?  
ГОРОШЕК. Поможешь? Быстрее освободимся, скорее за стол сядем.  
РАССТЕГАЕВ. Конечно. А что делать?  
ГОРОШЕК. Да вывеску снять. Видишь, лестницу я уже пристроил. Раз-два…  
РАССТЕГАЕВ. Вывеску? Имя Камерного театра снять?  
ГОРОШЕК. Ну.  
РАССТЕГАЕВ. Прости, я – пас.  
ГОРОШЕК. А у меня приказ. Понимаю. Тогда обожди. Ага?  
РАССТЕГАЕВ. Да.  
ГОРОШЕК. О, чёрт, только не это… Опять идёт. Хоть в петлю лезь!  
  
Входит Таиров, прислонившись к дереву, глядит на театр.  
  
РАССТЕГАЕВ. Это же сам!?  
ГОРОШЕК. Не ори. Да, это Таиров. Приходит сюда и часами глядит на театр. С ума сходит.  
РАССТЕГАЕВ. И ты станешь снимать вывеску у него на глазах?  
ГОРОШЕК. Приказано в течение получаса.  
РАССТЕГАЕВ. Ты же не в армии.  
ГОРОШЕК. Я – в Советском Союзе. Ох, мать моя женщина! Алиса Георгиевна…  
  
От театра идёт Коонен, становится неподалёку  
  
РАССТЕГАЕВ. Какая маленькая… богиня.  
ГОРОШЕК. Я – мигом. Жди. (Уходит в сторону театра.)  
РАССТЕГАЕВ (вослед). Горошек, не смей! Зачем же так-то… Это же не война.  
КООНЕН. Странный день.  
ТАИРОВ. Ты должна каждый свой день начинать так, как будто вечером играешь спектакль. Занимайся гимнастикой, речью, всем, чем ты занимаешься обычно. Готовь какую-нибудь новую роль… Теперь иначе ты не сможешь жить.  
КООНЕН. Страшный день.  
ТАИРОВ. Видишь, между булыжниками пробивается трава. Кажется невероятным: ездят машины, грузовики, топчут землю прохожие, а трава выпрямляется, живёт и даёт новые ростки. Вот так и искусство. Оно пробьётся и будет жить снова.  
  
Все наблюдают, как с фасада Горошек сбивает вывеску «Камерный театр».

© Copyright: [Кушнир Вячеслав](https://proza.ru/avtor/forik), 2020